

ЛЕОНАРД  
ЗОЛОТАРЕВ

Пере-  
мен-  
ное  
поле

3-80



НОВИКИ-СОВРЕМЕНИК

Леонард Золотарев

Перепелиное  
поле

Рассказы

951945

КЛ. Д. 11111  
200.

«Современник»  
Москва  
1980

**Золотарев Л. М.**

**3-80**      **Перепелиное поле: Рассказы.— М.: Современник, 1980.— 240 с. (Новинки «Современника»).**

В книгу орловского прозаика Леопарда Золотарева включены лучшие его рассказы, написанные им в последнее время, а также известные читателю по прежним изданиям. Главная тема, проходящая через всю книгу,— любовь к родной земле, природе, к ее истории, любовь к ее людям.

Сборник «Перепелиное поле» — вторая книга автора, выходящая в издательстве «Современник».

**3**       $\frac{70302-181}{M106(03)-80}$       **35—80 4702010200**

**БК84.Р7**  
**2 Р**



По земле надо ходить пешком. Ну что бы услышал, что бы увидел я, если бы на машине? А ничего, кроме го-лого ветра да полей, закручивающихся по сторонам. А тут вот иду вверх от Ливен весенним проселком — и время-то есть остановиться да почувствовать степь, да поразмыслить, да вздрогнуть, если рядом в орешнике лопнет вдруг почка, затенькает под овражным снегом капель. И не разминуться-то на проселке с седой легендой, с интересной судьбой, от которой, будьте уверены, так замечется сердце и засветится все в тебе, загремит великою гордостью от того, что и ты тоже русский.

Вот уж в какой деревне мне поминают этот поселок, знаменитый своими глинами, древним своим ремеслом. В какой хате слышу про Семена Семеныча — гончара, у которого, говорят, «золото в пальцах».

Сине отливает проселок. Наезжен. Натружен. Конечно, машинами.

А вот и узкий след копытного хода — тоже торит дорогу. И без него ведь нет той синевы у проселка. За Введенским след ныряет в луга. Дальше — развалины. Сначала подумалось, что это остатки какой-либо крепости, потом догадался: остатки здешнего производства.

Пустые саманные клетки, зимовавшая меж щелей лебеда. От печей до сушильных сараев петляют рельсы узкоколейки — гнутые и перегнутые, кто-то выворачивал шпалы. Вагонетки, машины. Провода высоковольтной обрезаются на последнем столбе, шевелятся, как щупальцы... И таким запустением, заброшенностью веет от всего этого, что и семь юных березок, все в дымно-салатных сережках, выстроившись, очевидно, у бывшей конторы, не утешают. И

лишь, отойдя шагов на сто, вздохнув полной грудью, замечаешь и эту равнину, по которой развеваны голубые шурфы с снеговой водой, и подступивший темно-рыжий дубняк с неумолчным грачиным граем, и еще дальше — третий, четвертый горизонты с белошиферными деревнями и фермами, с оживившейся зябью.

Он встретил меня на завалишке. Не такой уж и ветхий. Невелик, щупловат, но какой-то кустистый и цепкий — то ль от длинных, забористых рук, а то ль от дремучих бровей, накрывающих впадины глаз. Приглядеться — чем эти глаза не шурфы, голубеющие по равнине? По краям у них порыжелая щетка ресниц, словно по берегу ива. Он глядит в упор на закат. И плывут там, за ивами, думы Семена Семеновича.

— Место, что ж, было знатное, — наконец нарушает молчание он и степенно кладет на колени большие ладони. Брюки у него под ладонями серые, хлопчатобумажные да такой же пиджак на нем, да вигоневый свитер, но вот видишь его в зимней кожаной шапке, в валенках, настороженного и чувствуешь: экономит тепло человек.

— Сюда за посудой обозы ходили, — продолжает он скупно и вдруг оживает: — Да ить нету в мире душистей нашей глиняной посуды! Ни тебе запаху, ни кислоты... А как затевалось все, мы не упомним. А что, мил человек, интерес какой поимел?

Я киваю, и, постепенно оттаивая, начинает Семен Семенович:

— Тут, понимаешь, место такое — плешинка. Кругом леса, а здесь, гляди, пустошь. Не родит ни хлеба, ни леса. Так вот эту плешинку обернули люди великою пользой — нашли деды важную глину, завели дело. И ехали к нам сюда с бела света за огнеупорным кирпичом, за глиняною утварью... Ну, а я привадился к глине так, через баловство. Мать померла рано, а отец того раньше. Жил я пяти годков где придется — по людям. Кому, вишь ты, игрульку за хлеб ай за соль принесут, кому батька сам слепит, ну а кто уж и что мне, Сеньке, — сиротке? Взясся сам раз за глину, помял в пальцах — мнется. Примял да расправил, да, где надобно, вытянул — получилась свистулька. Сперва силло свистела, потом наладил звончее да чище. Первым мастером стал по свистулькам. И на хлеб ими пошел зарабатывать. Вон Вязовики, а во-он Сосновка за лесом, левее от солнца...

Семен Семеныч привстает и, не удержавшись, идет показывать ее за погребницу, и я замечаю в нем что-то птичье: в щуплости, горбоватости, выпирающей правой лопатке — следе неустанного сидения за гончарным кругом.

— Так вот на Сосновку в престол свой товарищ носил. На житьишко. А подрост — начал то, что и все: кувшины и тарелки, крышки на улыи-дуплянки, светильники под конопляное масло, трубы-фонтаны... По дворам ходил, по хозяевам. Были тут у нас кровососы. Земли слабые, так они держали работников, за труды их харчили, а посуду сбывали — червонцы клевали...

Я, бывало, на деда Малютина: уж какой, какой мастер. Руку на глину положит — не дрогнет. И пошла, глядишь, из-под пальцев фигура. По поселку болтали: дед-то порченый, все его на бездельное тянет: то кувшин на-вертит кольцами, то светильник... Ну, и я за Малютиным. Что увижу, то на гончарном кругу и кручу. Уважал я больно всякие вазы и живность: петухов и зайчишек. И притом петухов в разных фазах: когда пьет — когда песенки поет, когда сыт — когда на цыцарочку глядит. И надо мной начали в поселке подтрунивать. А тут меня хлоп, в двадцать девятом-то, и в Орел на выставку. Потом два лета подряд в район в гортеатр вызывали. Сидим, помню, с Федорой Мефодьевной, как артисты на возвышении. Она тут же, на людях, лепит сырцовый кирпич, а я кувшин верчу. А народ течет мимо, дивится: споро, дескать, работаете. А этот... э... экс-кур-совод объясняет, ажник захлебывается:

— Вот, говорит, граждане, что значит раскрепощенный труд.— И на Федору показывает: — Апофеоз, говорит, труда.

А Федора Мефодьевна — крупная такая, серьезная женщина — сверху:

— Это как вас понять? Апофеоз! К добру ай к пробытку?

— К добру,— смеются в народе, и мне тоже весело, и пальцы перед людьми так и пляшут.

Вот какие, мил человек, дела были... Жизнь, конечно, налаживалась. А тут в тридцать третьем вдруг голод. Всем поселком кормились на глинах, и соседям перепало. В те дни даже дед Малютин перешел вовсе на кубаны, рты в семье обрабатывал. Один заезжий, с Адамовой

мельницы, заинтересовался: как это, братец, у тебя получается? А я ему: земли у нас на это способные, наши плешковские глины. Огнеупорные, вязкие. Да вон они, в огородах. Пошли познакомлю.

Семен Семеныч вскакивает и семенит расторопно, и примахивает руками — совсем иной, вовсе не тот, что встретил меня на завалинке. Покладистый и разговорчивый.

— Тут скрозь жили, — как-то сереет он, кивнув на бурьяны — след от крестьянских дворов. — Съезжают. Мы теперь бесперспективные.

В полусотне шагов от его хаты озеро. Синее, с прозеленью берегов. Веками брали отсюда глины — вот и чаша. Ветер морщит в ней талые воды; и темно и ершисто там, на середке, а по гладким краям прилегли облака, режет белый след самолет. В мае эти воды снижаются, а к июню и вовсе исчезнут, и тогда обнажится дно, конечно, такое ж бугристое, глинистое, как и островки, берега, как вся эта земля.

— Утка пролетная место здесь облюбовала, — машет вдаль мой рассказчик. — Да наезжают людишки, стреляют. А то и свои. Ружьем теперь не удивишь...

А вот и кормилица-выройка. Гляди-ко: верхний пласт — желтый, глубже — серая, красная, белая глины... Нету, мил человек, на свете ценнее земель, чем наши, расейские. На все-то способны, на все мастериты. Не на хлеб, так на что-то другое. Вот, скажем, есть у нас глина такая, называется «дутик». Почему «дутик»? А бог ее знает. Это еще деды ей прозвание дали. Оттого, наверно, что чистоты особой в работе требует. Попади в замес глудка известняка, по-нашему «курьяка», горя не прохлебаешь. Нальешь в посудину молока ай воды, «курьяк» от влаги распустится — все глиняное на шмоты. Зато нету посуды сильнес, чем из этого «дутика». Керосин и тот держит, не пропускает... Да и вот он, «дутик» наш.

Семен Семеныч живо прыгивает в непросохшую ямку, берет глину в ладонь и разминает, и нюхает эту серую, на взгляд, обычную глину. И мне представляется сейчас агроном, чернозем у него на ладони, ожидающий семя; садовод, опускающий в лунку прививок, и думается: земля-то землю — способны и мастеровиты люди на ней, знающие, что им надо от талантов земли.

— В войну в Персии был, — щурится, будто вновь

представляет все, Семен Семеныч.— Из Баку до ихнего Тегерана линию связи тянули. И скажу тебе, мил человек, глина там тоже хорошая. И посуда хорошая: кувшины, миски, горшки... И страна какая-то сказочная. Плоская, ровно стол. Глядишь, стоит хатка, блином покрытая, вокруг себя вертится. И вся-то из глины. Трубки, из чего курят, и те, брат, из глины. Во, метровые! За пояс заткнет какой-нибудь, как топорыще, и ходит... И, помнится, жил по-соседски в такой хижиенке персиянин Али. Лепил всякие плоски-матрешки да в батальон к нам таскал. Сует свой товарец: купите. А ребята ему: да мы и сами с усами, сами мастеровые. Али головою качает: так, мол, не сможете.

— Не сможем?— вспыхнул как-то наш лейтенант.— А ну, говорит, Красов, покажи иностранцу, на что способна Россия.

Назначили день. Хожу сам не свой: руки от глины-то отошли, к винтовке привычнее. Утром Али приволок инструмент и подталкивает меня: ну, давай. А ребята — нашлись в батальоне и плотники — тоже круг мне гончарный представили и Али этому:

— Обойдемся своим механизмом.

Обступили всем батальоном. Тут же, вижу, и за граница: мужчины и дамочки ихние, и малолетки. «Ну,— говорю себе,— Красов, не посрами земли русской». Сел за круг, а дальше уж и не помню, что было. Поплыло все... Когда кончил да встал, подбежал ко мне персиянин, на кувшин пальцем тыкает и прицокивает и смеется: видно, понравилось. Загудела братва: знай, мол, наших. Лейтенант подошел ко мне и за плечи:

— Спасибо, Семен Семеныч.

Долго еще, взволновавшись, повествует он про то, как тянул на фронте «шестовку» и кабель, как хлебнул ленинградской блокады, как закончил войну и вернулся домой. И застал свой поселок сожженным, и пришлось братья солдату за новое дело — класть в землянках печи и трубы, пока не задымил снова, не поднялся из пепла заводик.

Рассказывает Семен Семсныч историю его возвышения и захирения, и вижу я, как вникла в этот заводик вся его жизнь, от него все и боли и радости Красова. До войны дело шло: промколхоз отправлял кирпич и посуду машинами. И хоть после войны здешний товар лучше прежнего нужен был людям, заводик уже не поднялся. Пошел

по рукам: передали его какой-то артели, та — районному бромкомбинату, тот — межколхозной стройорганизации. Наконец потрепанное наследство принял введенский колхоз.

Все эти годы, истосковавшись, вертел солдат на кругу горшки да тарелки — просто, бесхитростно, привыкая. Ему нравилось снова вдыхать запах глины, чувствовать пальцами ее понятную мягкость и думать о чем-то своем, затаенном, давнишнем, отчего еще ближе становилась вся эта равнина, ее голубые шурфы-озера и соседний дубняк.

Он бродил по лугам и полянам, примечая, как держатся в травах цветы, как клонится долу бордовый рожок наперстянки, как розовеет на взгорках вереск, сиренево смотрит вороний глаз... Он клал цветы на плоскую, жесткую от работы ладонь, глядел на них, не уставая, стараясь понять, чем берут они, что в них человеку. Часами после возился в «гончарке»: вырезал из бумаги своих полевых и лесных знакомцев, накладывал бумажные трафареты на темноватую от сырости глину, прокрашивал их. Но не хватало чего-то. Квасные кувшины стояли такие же скучные, одноколерные, со стандартными ромашками, колокольчиками, наперстянками. И когда однажды он додумался «цветить» гусиным пером прямо по глине и колокольцы вдруг, как на акварели, попрозрачнели, задрожали ворсинками, пришел председатель, сказал:

— Свертывай, понимаешь, комедию. Будем свечи делать для тракторов.

— Как? Из глины?!

— Дефицит, — голова! А посудой и так весь местпром загрузили.

Делали свечи. Делали аптечные банки... Производство закрывал другой председатель. Упросил его Семен Семеныч не сокращать, оставить их хотя бы с напарником. «А что? — рассудил председатель. — Старики. На свеклу уже не пошлешь. Пускай ковыряются, хоть какой, а доходишко». Заводик доживал за поселком свой век, и лишь деды-гончары в сезон, как и прежде, утрами шли на работу, принимались за дело, и печь начинала коптить, на поселке вздыхали:

— Живут, кашеварят деды.

Каждый год доставался дедам все труднее. Разрушались постройки, а подсобников не выделяли (рук в колхозе требовалось все больше: и полеводству давай, и жи-

вотноводству давай, стройки пошли вон какие). Не выписывали дедам и глазури: Усть-Лабинск теперь не присылал...

Вспомнил Красов деда Малютина: свинец начал перетирать, пропускать через мелкое сито да замешивать, словно поспу на квас, тестом этим утварь и смазывал. Ну а где взять свинца? Не валяется ж. Вот уж эта была находка — старые аккумуляторы. Хлам, кому они? А тут в дело.

Вновь ломал голову Красов: как под василек, наперстянку, ирис подобрать свой, единственный колер? Как связать его с глазуриным тоном? Жег Семен Семеныч железо, в пыль мельчил, добавлял в тесто гуще-реже железа того и свинца, оттого глазурь зацветала охристо, вишнево, табачно. Подливал по вкусу купоросу, просто го иль медного, и глазурь зеленела, голубела, синела.

— И куда так? — кипятился напарник. — Ай на выставку? Товар, можно сказать, без конкуренции. В хозмаге с руками...

— Для людей же, — отвечал Красов, и Данилыч стихал.

Пообвыкнув, уж на глаз составлял Красов любой тон глазури. Как-то делал цветочную вазу да не смазал поспой ромашку. После обжига выделил вазу из прочих: раскрытая, ромашка цвела одним краем — легкая, чистая, другим — перекрывалась темневшей глазурью. «Так, — унял вдруг волнение Красов, догадавшись, что сделал открытие, — Попробуем-ка без глазури...»

И теперь так и делал. Без глазури. Обжигал изделия то слабее, то крепче, то ровней, то наплывом, давая говорить самой глине...

Зимой, как всегда, ходил сторожить на введенскую ферму, а к весне, подточенная ветрами и водами, на заводе рухнула печь. С месяц Семен Семеныч не знал, что и делать. Но апрель приближался, и он насмелился пойти к председателю, хотел выпросить материалов — поставить «гончарку» у себя на глазах, теперь возле хаты. Председатель вспомнил, что колхоз из хозмага до сих пор не выбрал за гончарную утварь санями да сбруей, прикинул, обмозговал — разрешил.

И снова делал Семен Семеныч посуду. Под мед и крошку, квас и молоко, под крупы и ягоды. Сосуды под воду и фрукты. Цветочницы — вазы и кувшины. Товар

не залеживался. Оттого, может, и расходился, что хотелось людям привычного, давнего, что жила в местах здешних издревле красота: в домнинских ли кружевах, в покровских костюмах, в болховской деревянной резьбе, в плешковской керамике — во всем, к чему прикасалась рука не ремесленника, но умельца-художника.

Беспокоен Семен Семеныч. Едва вывели печь да наладили обжиг, едва сняли «горно» кувшинов да цветить стали прежним порядком, заметался опять: все не то да не то.

— Ну, чего тебе, — утешал временами напарник. — На ромашку уж руку набил. И копейка! Знай лепи да лепи.

— Нам, Данилыч, сейчас что ирис лесной, что полевая ромашка: одного фасона для них посудину лепим. А ирис, вишь, какой распушенный? А гляди-ка ромашка: вся в кучке, лепесток к лепестку.

— Ну в кучке, и что?

— А вот то. По одежке и ножки. По цветку тон, колер и фасон. Чтобы дух один шел от посудыны, чтобы нравилась...

— А ну тебя, — отмахивался Данилыч и, слабея, сдавался.

И опять принимались за вазу с ромашкой, только с другого: за силуэты, за линию. И когда начинали видеть, что ваза стройнеет, тянется ввысь за цветком, венчали ее обтекаемой ручкой, отчего она уравнивалась, становилась законченной.

Наступила зима. Длинными вечерами слушал Красов январскую выюгу, перебирал свое в памяти. Жалел об одном: сын пошел не в него, учится где-то в Макеевке на тепловозного машиниста. «Да ведь как нынче, — рассуждал Красов, — три месяца на курсишках, и баста. Это тебе не гончарное дело...» Размышлял о том да о сем. Люди строятся под железо да шифер. Надо б хоть шлаковый дом и себе, да уж силы не те. Захворал вон Данилыч, и теперь не до сруба... Прогонял невеселое, заставлял себя думать о мае, о лете, когда они с Данилычем снова возьмутся за глину, откроют сезон. Слышал он: теплый ветер, забравшись в кувшин, гулял в звонких изгибах, оттого глина гудела мягко и грустно. А о чем? Млеет в нем одна думка; видел в городе чайный сервиз — духом в нем все едино. Художественная вещьца!..

А в апреле умер Данилыч. Семен Семеныч шел по раскисшей дороге вслед за гробом, вздрагивающим на ухабах. «Как же теперь я один-то? Ведь задумали с тобой этот... сервиз. А ты взял да и помер. Я и снег от «горна» отбросил: скорей, думаю, обтянет землю. А вчера председатель приехал: хозмагу, говорит, еще посуду давай. Механик обещал пяток старых аккумуляторов... А ты взял да и помер...» Так и брел, беседуя с Данилычем, Семен Семеныч, пока не выдвинулось из-за бугра здание Введенской школы — двухэтажное, светло-желтое.

С кладбища зашел на заводик. Развалины печи, где трудились они с Данилычем. Куски жженого пода. По поду, вроде бы слезы, потеки сосулек — оплавленный огнеупорный кирпич... Сняв шапку, Красов долго стоял перед печью, потом как-то боком, по-птичьи, словно грач с перебитым крылом, поволокся к поселку.

А дней через пять потянуло воздухом с юга, и земля начала подсыхать. Красов увидел на припеке черно-красных «солдатиков» и только тогда поверил: весна! Пошел к соседу, постригся. Надел чистые штаны и рубаху. Отправился на берег глянуть глины. Вернулся довольный, стал готовить «горно»...

Он ведет меня по двору, показывает топку, лаз, куда сажают на обжиг посуду, духовики, обмазанные на зиму коровяком. Ведет и к «гончарке».

Смотрю на него: сединой просветлило голову, даже брови. И за этим — вся жизнь. Всяко было, но что бы ни случилось, вновь и вновь разгибало Красова, заставляло браться за глину...

Вот сижу вместе с ним на завалинке, щурюсь на заходящее солнце и думаю: живет человек в поселке — самородок, умелец, способный разговорить даже глину. Ищет в лугах, на полянах нужную форму и краску — свой счастливый аккорд. И что за мера в чувстве прекрасного у пожилого крестьянина, что за нашенское рукоделие! Вот ведь дар-то какой, вот ведь семя, из чего в народе родится великое, вечное, чему надобно поклоняться.

# Ливенка

По селу тропишкой кривенькой  
В летний вечер голубой  
Рекрута ходили с ливенкой  
Разухабистой толпой.

*С. Есенин*

Мы идем по нешумным, шелестящим листвою улицам. Усталое тополиное золото перепархивает перед глазами, мерный говорок собеседника вплетается в это недолгое золото, в тихий аллеиный уют:

— Ходили тогда в срединной России все больше «тулки». Ну еще петранеевские, череповецкие, саратовские. Хаживали по земле русской, прославляли свои краины. А после крымской войны появилась и у нас в Ливнах своя гармонь-ливенка. По восточную руку уходила до самой Рязанщины, а по западную — до Орла и подальше. Голос на сжим и разжим одинаковый, мехи длинные, хоть подпоясывайся. Оттого-то и звук приглушенной, напевней, приятней — человеческий голос. Начнут голоса выговаривать, а басы им давай то рожком, то жалейкой, то сопелкой подыгрывать. Не гармонь — целый оркестр на деревенском лугу...

Собеседник мой — мужчина средних лет, в меру сухощав и приветлив; слегка удлиненное лицо подвижно и выразительно, в фигуре, улыбке, в глазах, угадывается натура, что называется, артистическая. Это Зорин, Леонид Иванович Зорин, из третьего поколения именитой фамилии, с коей, по преданию, и началась пискунья-гармонь. Дед передал свое мастерство сыну Ивану. Оправдал, видать, сын доверие Федора, коль заказывал ему инструменты сам Пятницкий. А теперь ведет это дело он, внук...

Мы проходим с Леонидом Ивановичем в городской парк, к откосу, садимся на тяжелую, с изящной изогнутой спинкой скамью,

Внизу, под откосом, сходятся две речки — Ливенка и Сосна. Как и в давние времена, смотрится отсюда легко. И удивительно знать и воображать в вечерующем воздухе, что здесь когда-то бывал Паустовский, а еще раньше Лев Толстой, Бунин, Фет. И они, возможно, оглядывали эти места, речку Ливенку, ласкали взглядом ее девичью гибкость, всю в перепадах-плотинах. Слышали где-то внизу живой голос пискуньи...

По соседству, за распахнутыми окнами клуба пискуньи ла гармонь, затем вторая. И вдруг затеялось, схлестнулось, пошло все игривей, занозистей. Репетиция, что ли? Ну да. Закрываешь глаза и слушаешь, представляешь былое, давнишнее...

Вот, в своей черной пиджачной тройке, таким фертом шагает по ярмарке Иван Алексеевич Бунин. Останавливается у балаганов, перед которыми за бутылку стараются зазывалами гармонисты.

— Эй, бери, не скупись,— усмехается ухарь-приказчик и кивает на полки, а на полке главная ливенка: по углам мельхиор, серебро на басовых лоточках, планки в серебряной чеканке с подчернью.

— Капиталу на нее не имеешь? — усмехается лавочник и ведет рукой по гармониям, какие попроще. Корпуса в русском узоре — ореховые, дубовые, ольховые наборы. Словно лес пришел и улегся в жаркие перламутры. Гладит Иван Алексеевич то одну, то другую, ненасытно смотрит светло-стальными глазами. А сбоку уж вьется мужичонка-пройда.

— Вот гармонь,— достает пройда из-под полы свою неказистую ливенку,— всем гармониям гармонь.— И начинает, и пляшут в руках его залихватские планки, мечутся в желтизне соломенного набора, сыплют перепелом и жаворонком.

— Ай да Крест,— пересмеиваются мужички.— Ай анчихрист!

Рядом тенькнула другая гармонь.

— Наддай, наддай, Вахнов! — требует потехи толпа.

Появились еще гармонисты. И пошло, покатило. Слобода на слободу — Стрелецкая на Черкасскую, Черкасская на Ямскую. Стучит сердце неровно за черным жилетом...

И какой же русский не любит гармони? Ее ль не любить ему, если слышится в ней все родное, все близкое:

и степь ветровая, гудливый подлесок, и грусть-развеселье, и нынешнее, и стародавнее. И нехитрый ведь инструмент — не какой-нибудь аккордеон с итальянским, немецким строем, а живо, простенько сотворил, сочинил его из двух планок да из десятка четырех пуговиц, да из мехов картонных, из голосов серебро-стальных, да вложил в нее всю свою лихость и душу россиянский самородок-любитель, да и пустил себе по свету: гуляй, взвеселяй, ободряй дух упавший, пускай в пляс дух радостный, звончее — забористой сыпь, чтоб слышно было в заморских землях, персидских да английских, чтобы, заслышав ее, притишались там, удивлялись и ахали: да что же это за народ такой неумный, бедовый, черт ли сидит в каждом из них и бьет такой искрометною дробью, что волнуется море, качаются всякие тутошние острова!

Ах, гармонь, гармонь, что за гармонь! Нащупала голос и рвется, срывается вслед за пальцами разлитое полымя, да и мертвого из могилы подымет, а не то, чтоб не бросить в круг жар-девчонку да не вырвать у нее из сердца частушку, не заставить тряхнуть, повести цыганским плечом. И вот она вскрикнула, понеслась, закружилась:

Я царевной пройду  
До околицы.  
Эх, подковки мои,  
Колоколицы!

Летит все вместе с ней: люди, годы, города и веси, и небо, и звезды; все вертится, крутится, мчится в огненной пляске. Озоруют пальцы на планках, выкамаривает трехрядка: «Шире, шире круг!» И быются, трепещут, несут-влекут все вперед, вперед ее меховые крыла...

— Ого-го-го! — сложив у рта руки рупором, кричит по-мальчишески Зорин, но звук с откоса до воды так и не долетает.

Кто-то высовывается в окно клуба и, улыбаясь, машет рукой нам. Зорин машет в ответ, и снова бредем мы по шелестящим аллеям, мимо фанерных и дощатых павильонов, кассовых будок, качелей-гигантов, танцевальной «клетки», и Зорин все говорит, говорит. Иногда возникает слабый ток воздуха, и листва начинает сыпаться чаще, голос глохнет — так волнует Зорина говоримое.

— Представляете, в деревнях ближних и сложилась тогда мудрость такая: купи смолоду ливенку, а после —

удалой да веселый, удачливый — купишь и лошадь... Ливенками завлекали невест. Наперебой резали «Страдания» под жасминными окнами. Наутро побежденный брел к отцу моему и выкладывал: «Выручай, Иван Федорыч! Сделай гармонь, чтоб была самой лучшей. Лучше Петькиной. Присушить надо Лидку Степанову».

Соглашался отец — и тогда за ним начинала следить вся Черкасская: чья гармонь возьмет — Петькина, которую сделал Градов, или у Митьки — его, зоринской марки? Каждый мастер делал ее по своему разумению. Одни добавлял к басам «барабанчиков» и «пискунчиков», другой — сталь в голосах заменял бронзой, так и певучей, и мягче, и надежней от сырости; третий — делал голоса повыше, крикливее; четвертый — пониже, увереннее. Каждая пела по-своему, голосом мастера. А делали пискуньи мастеров десять — пятнадцать. Здесь, в Ливнах, да в ближних слободах. И хотя мудровали, как вздумают, одно всяк держал общим — обряжал гармонь по тогдашней моде, как женщину: сорок пуговок вверх по планке — «платью» до самого горлышка, а развод непременно из сорока одного меха...

Разливались по селам ливенки: то вытягивали душу медовым заноем, заходили под самое сердце, то рассыпались капелью, тенькали луговым колокольцем, вели «Барыню» с «подтетехом». Каждый в игре был сам себе голова — ведет куда выведет. И запало младшему Зорину: а что если взять да собрать всех в ансамбль?

Все смешала война. Поспалила она крестьянские хаты, а в хатах и ливенки, унесла мастеров. Да была бы лишь кость. Разыскал младший Зорин старого Градова, уже ветхого, слабого.

«Петр Осипыч, — сказал ему, — совсем, слышишь, вывелась ливенка. Хочу поднимать ее». — «Ищи, — вздохнул старый мастер. — Ищи, Ленька, гармони по селам. Мои, значит, градовские, и ваше, зоринское...»

Вслед за тополиными листьями текут, падают слова Зорина, а мне вспоминается одна зима моя в Гулькино, где был я учителем. Жилось мне легко — в небольшой чистой хатенке у Антоновны, доброй, хлопотливой старушки, и даже приятно — за утренними и вечерними разговорами. Старший сын переехал в город, а к младшему Антоновна не пошла. Так и жила.

С сумерками заиграла, рванула однажды гармошка под окном.

— Ливенка,— встрепенулась Антоновна и заспешила, запричитала: — Сидишь тут, а гожие уж идут с ихахошками.

— Это кто ж такие?

— А некрута, что ли... Раньше так... берут кого в армию — тот, значит, и гожий. А девки голоса, поют «ихах-ох» — провожают... Пойдем-ка и мы с тобой в клуб. Дай-ка кудри свои седые на голову заведу,— прищурила Антоновна глубокие, веселые глазки.

Вышли наружу. Луна висела, словно бы в молоке, в раките гудел жидкий ветер, покалывало лоб и щеки. Запевалась метель. Антоновна опустила ниже клетчатую шаль, перетянула лоб белым платковым жгутом.

— Так-то спокойнее,— сказала она,— а то, гляди, зимно-холодно.

Навстречу двигался человек — городской: в фуфаячке, туфельках; то и дело схватывался за уши и приплясывал от холода.

— Ровно как февралевский, с недыхватом,— вздохнула Антоновна, когда прохожий скрылся в поле за поворотом.— С зимой шутики шутит.

Запуржило вдруг сразу. Все смешалось, завыло, стало валить с ног. «А ему каково? — подумал я о проходящем.— Ведь ближайшая деревня — Смородинка. Километрах в семи...»

И представилось мне, как замерзают: сначала является ко всему равнодушие, потом непременно захочется отказаться от ходьбы, от борьбы, потянет на тихое, мягкое: сесть, прикорнуть, потом, махнув на все свои надежды и планы, сложить руки, утешиться, что и так хорошо, пусть другие. И тогда все... конец...

— Сын у меня здесь живет, — потянула меня Антоновна.— Зайдем.

Вскоре мы грелись в жарко натопленной хате, а хозяин — сын Антоновны, небритый и полупьяный, совал в печку плашки еще и еще, потом вышел зачем-то во двор. Мы прислушались и уловили во дворе голоса. Наконец в сенях громко застучали о пол, и в дверях показался хозяин, поддерживая одной рукой человека. Это был тот, проходящий. Кулем опустился на лавку.

— Вот нашел за сараем,— сказал мрачно хозяин и

повернулся к незнакомцу: — И какой ляд погнал ниче тебя, дурака, в путь-дорогу?!

— Полегше с ним, — зашептала Антоновна, — посереднее. Не вишь, еле держится.

— За гармониями я, — вздохнул проходящий и попытался сделать улыбку.

— За гармониями! — всплеснула руками старушка. — За какими гармониями?

— А за ливенками, — оживился тот, начиная растирать руки, отогреваться и уже радуясь и теплу в хате, и людям, и тому, что все позади, что он будет теперь — по примете — жить удачно, долго.

— За ливенками, — тяжело рассмеялся хозяин. — Да мне миллион дай — в такую погоду не двинусь.

— Да уж ты такой, Сеньк: топора на свою ногу не бросишь, — заворчала старушка. — Только б себе.

— Ну, а как же, — воздвигся Семен над столом. — А кто же откажется? Да мне хотя руки руби — на спину, скажу, положи — понесу. — И опять усмехнулся:

— Так за гармониями, значит? Дела-а... А у нас батя — верно, мать? — был по этому делу монтер. Может, слышал? Крестом звали.

— Крестом? Ну да! Неужели отец?

— Лет пятнадцать как помер, — продолжал Семен. — Не хозяин был, фють — и нету, ничего не осталось. Только лих был на драку и на этой... гармонии. Где в деревне завяжется, там и он. Кантырем по башке в один час ему двинули, принесли домой: нате...

— Ну, а гармонь-то цела его?

— Мать, — повернулся хозяин к Антоновне. — Не знаешь, цела?

— А кто ж ее? Может, на чердаке?

Семен полез туда с лампой. Долго возился там, наконец вместе со всякой рухлядью подтащил к краю и разваленную в лоханку гармонь, собрался было сбросить ее вниз.

— Да ты что? — испугался проходящий и подставил свои осторожные руки.

Протер носовым платком планки: она, гармонь самого виртуоза Креста! Кто не знавал ее в прежних Ливнах по инкрустации — по соломенному набору на планках. Кто же не слыхивал, как наяривал на ней Крест по ярмаркам...

Я все слушаю и слушаю Зорина, но ни словом, ни взглядом не выдаю того, что узнал его в том проходящем. Слушаю зоринский рассказ — целую эпопею, дело всей его жизни. Про то, как нашлись гармонисты в деревнях, как, отремонтировав, они с Градовым ладили их, приводили в одну — для ансамбля — тональность. Потом сами сделали три новых ливенки. Кузнец Евстигней Горбачев отковал на свой лад и вкус трензель. Трензель да бубен, да ложки, да балалайки — вот и ливенский дух. Подобрались гармонисты — деды мигом вспомнили ливенку, потянулись и внуки. Петухами сцепливались деды.

— Ты, Павел Ильич, не выпирай, не выпирай, — поучал дружка на репетиции Зеленцов. — Под меня строй.

— Как это под тебя? — Обижался Зеленцов. — Да я... я на Черкасской первым, вот именно, был гармонистом.

— Да у вас на Черкасской, — с чувством явного превосходства улыбался Зеленцов, — вовсе не умели «Страдания».

— Это у вас на Стрелецкой, Сергей Иванович, вот именно. А все Ливны играли только по-нашему. Сначала «Черные брови», потом...

— Как это, сверх рубанка да топором?!

...Приближался концерт. С утра Леонид Иванович ходил веселый и праздничный. Но уже в клубе струхнул, выпил графина четыре воды, без конца облизывал пересохшие губы. Зал ломился от публики. В первом ряду чинно сидели старейшие жители города, напирала в дверях молодежь.

Вышли на сцену. Сели. Смущенно — задвигали стулья. Развели от плеча до плеча цветные мехи — поплыла перед залом Россия, черноземная, полевая, ромашковая.

— «К ней», — заводили «Страдания» ливенки. Это парень шел на свидание, в неизвестность.

— «От нее», — брызгали радостью ливенки. Это парень возвращался домой на рассвете, переполненный счастьем.

Выкатывали деды над гармониями грудь, молодецки глядели в первый ряд, где сидели их сверстницы — захмелевшие, помолодевшие от воспоминаний. И представлялось дедам, как лет сорок тому, а то все пятьдесят, шли они слободой — молодые, чубастые, сильные, и ливенки озоровали под пальцами. И подругам их в первых рядах делалось весело, распрятно, словно б не было за

спиной старых женщин ни гражданской войны, ни войны сорок первого, будто не они выдюжили и разруху, и голод, не они творили своими руками хлеба и заводы, не они выходили сыновей своих, внуков и пустили их по свету врачами, инженерами, летчиками, музыкантами...

...А листья струились, струились, стекали. Как и слеза Зорина. И слышалось мне дыханье Зорина, беспокойное сердце Зорина, виделась сцена из луговины, купол из целого неба и гигантские ансамбли из окрестных сел и деревень; вот они растянули мехи — и идет «К тебе» спящей улицей чуткая ливенка. «От тебя» — уходит вниз по излучке, вместе с рекой. Ах, Ливны, Ливны, — гармониями дивны...

С небольшого здесь начинаются реки, чтобы, став полноводными, до морских докатиться просторов. Говорят, все в России стекается в Волгу. Потому-то она необъятна, потому никогда не иссякает. Как таланты. Как большие дороги. Как жизнь.

## Берестяные песни

По утрам дымится река — значит, бабье лето кончается, нет уже той теплыни, что прежде. «Да ить дело не к петрову, а к покрову,— лениво судачат в автобусе.— Цыган, гляди-тко, покупает шубейку...» Невесть какая сила подхватила меня с постели, привела к этому рейсу с третьими петухами, в экую рань заставила поспешать на далекий хутор Одинок, к Бояну Ипатычу Павину, о котором наслышан и к кому давненько тянет на песни, на его берестяные песни.

Юлит торопыга-автобус. Все берегом. И бугор не бугор — медведица придремнула за речкой, выгнула свой лесистый бок; по зеленой крепке дубов — золотистые свечки, березы. Березоньки... Если глянуть с горы, так и Зуша утрами не Зуша, а вроде береза; по руслу сизоватым стволом улегся туман, по туману — темные пятна разрывов, а над всем этим маковки ЛЭП, и поют провода свои песни где-то в теле «березы».

— Ну, и как там Павин, играет?

— Еще как... играет,— кокетничает молодайка.

— Будет скоморошничать-то,— останавливает ее та, что постарше, и смягчается, поворачивает ко мне лицо: — Он намени жоровлей остановил...

А было все утром, вот так же на зорьке. Вышел Павин за порог под ракиту: хутор вроде на месте, сады и прудишко тоже. Через дорогу калины-рябины гнут долу ядренные кисти. Тянуло отволглою тиной, лежалым хворостом. Павин отыскал в сенях топор, подошел к возу, подтащил к колоде крутую охапку разной хворостяной мелочи.

Солнце, едва оторвавшись от горбуновского верха, уже высветлилось, сделалось суше. Павин все махал топором. Вдруг он остановился, отложил топор и прислушался: над леском бродили неясные крики. Павин слегка побледнел, смахнул пот со лба, снял форменную фуражку — свою старенькую «почтарку».

Так и стоял. А крики крепчали, бились о крыши, о рябое зеркало пруда, о плечи; тревожные — отдавались в садах. Вожак вел караван. На подлете обозначились два каравана. Темные нити их выгибались, завивались друг к другу хвостами, вытягивались за жожаками.

— Журавли-и-и! — бежал по юру соседский парнишка Славик, и в голосе его, утонувшем в журавлином курлыканье, было столько восторга, столько юного восхищения и золотом осени, и крепнущей силой своей, подступающей жизнью, когда все только лишь начинается. А Павин стоял и грустил: журавли уходили, махая широкими крыльями, вот и кончилось лето, прожит еще один год, это его семидесятые журавли. Когда вожак, словно прощаясь со сжатыми нивами, с лысеющим лесом, с пошвинцовевшим прудом, со всеми родными холмами и балками, в низком поклоне поднырнул над Павинским хутором, а за ним закачался и весь караван, Павин не выдержал, поднял руки к губам.

— Курлык-курлык-курлык, — полетели с хутора одинокие крики.

Вожак с минуту парил в блеклом небе, как бы прислушиваясь, потом пошел вниз — караваны смешались, заходили винтом, стали опускаться на землю.

Хутор уже совсем пробудился, за прудами проснулись и Горбуновцы. Горбуновские высыпали на бугор, кричали хуторским, показывая на журавлей:

— Чего это с ними, а?

— Своего, думают, потеряли, — отвечал Славик с этого берега. — Ослаб, думают, или так... приотстал.

Когда журавли почти уже стригли крылами елину, Павин смолк. Повертевшись, птицы кругами стали набирать высоту. Снова выстроились в караваны, завели свою длинную песню-прощание с родиной. Павин глядел, чуть подавшись вслед, про себя повторяя извивы тускнеющих звонов, и светлел от мысли своей.

Подошел Славик, грудью приналег на колоду:

— Чего ж ты не посадил их, дядя Ипатич?

— Не посадил,— вздохнул Павин.— Да ить не надср-  
жишься. Пушай кому куда надо. Хорошо, Славик, птице,  
когда ей летится...

Мы сидим с дядей Ипатычем на том самом месте, где  
недавно он «закликал» журавлей. Лицо его сухо и выбри-  
то с прорезью неглубоких морщин. Седина над ушами,  
тонкая оправа очков и блуждающая улыбка делают его  
мягким, смиренным. Но, побыв с ним подольше, начина-  
ешь замечать в нем подвижность, даже резкость в движе-  
ниях, чувствовать иногда какую-то жесткость. Не оттого  
ли, что жизнь так трясла, колотила его так безбожно?  
Да не отбила от песни. Павин так и сказал: «Я пою». Не  
свищу, не играю — «пою». Словно бы и родился с голо-  
сом птицы, словно это просто для него и естественно, точ-  
но так же, как петь кому-либо русскую песню про рябину  
или ямщика. Ребенком становится дядя Ипатыч, когда  
начинает о птицах, — доверчивым и наивным. Затихая до  
шепота, рассказывает, будто есть где-то в Америке жен-  
щина, что поет соловья в два колена, да «кенарку индей-  
скую», да попугая.

— Это мне как семечко слушать... Пою и синицу, и  
скворца, и перепела, и жаворонка, соловья о шести ко-  
лен... На двенадцати языках пою.

Дядя Ипатыч снимает с головы «почтарку», достает  
из-за подкладки завстную берестинку, закрывает глаза.  
Кажется, где-то в роще встряхивается соловей, осмелев,  
рассыпается звонкою дробью. И не осень — май шелестит  
в садах клейкими листьями. А соловей и трещит и тук-  
тукает; то защелкает, а то, обмирая, запленькает, то  
опять, оживая, запулькает. Дядя Ипатыч лишь перс-  
бирает губами, улыбается про себя. А соловей еще  
раз плень-плень-плень-плень, вильнул и умолк. Ти-  
шина.

Дядя Ипатыч хмельно оглядывает окрест, словно бы  
удивляется, да не собственной щедрости — щедрости это-  
го края, где по чистым березовым рощам и косогорам  
рождаются песни. «Да ведь здесь в десятке километров  
Алябьево, — мелькает догадка. — Не отсюда ль пошел  
знаменитый алябьевский «Соловей»? Это же к соседям,  
в Спасское-Лутовиново, наезжают веспами из киностудии  
записывать соловья. Вот она передо мною, Россия!.. Да  
знает ли дядя Ипатыч, какой у него редкий дар, какое  
богатство?»

А осеннее небо просторно. Кружатся, собираясь в отлет, грачи. Дядя Ипатыч напрягся, закричал резко, поихнему. Грачи продолжали летать.

— Совещаются,— замечает Павни.— Шумят, как на колхозном собрании.

— Где вы всему этому... дядя Ипатыч?

— Э, милой, нешто враз такому научишься? Сколько живу, столько пою. Коли хочешь — слушай историю моего, стало быть, пения...

Родился я еще в прошлом веке здесь, на этом корню. Отец мой крестьянствовал, на помещика Мишку Домогацкого робил. Всю жисть свою жилится, семьюшку кормил. Старший, Афонька, пошел по портняжной и плотницкой. Егорка тоже дому подпорой, сапожничал. Только я сыздетства к песням, стал быть, привадился. Ну, а что от песни в крестьянстве? Бил меня батя нещадно, отучал от песни.

Помню, сижу у лесочка, прислушался: дрозд! Вот затевает — мудрено мне. А корова тем часом возьми да и скройся. Пришел ко двору, батя соскреб меня и под себя:

— Ах, родимец тебя задерн!

Насилу сосед отнял. Цельную неделю после жил под омшаником, а сестрица, Прасковьюшка, приносила мне хлеба... Беззащитный был. Я к мамке, бывало, а она мне:

— Ты подальше от всех. Сторонись.

Пойду к лесу, берестинку зачищу, посвищу да послушаю иволгу али синичку. Послушаю да опять посвищу. А осенью определили меня в приходскую школу. Любила меня учительница, без обеда не оставляла. Я, бывало, ей по-вороньему каркаю, по-коршунину торкаю, а ей интересно. На другой год батя забрал меня: пусть, мол, по хозяйству толкается. Так всего один класс я и кончил. Ну, и тоже крестьянствовал, да неважно, видать. Больше к лесу тянуло. По хутору меня так и кликали то «Дроздом», а то «Перепелом».

Подступило время — пришла революция. Батя к той поре помер... Приволок я из лесу яблоню, корни почти все обрублены, а поди ж ты — взялась, зацепилась. Дождишком, стало быть, отлило. «К новой жисти, гляди-ко», — подумал я и сказал старшему брату:

— Теперича мы с тобой равные.

А он собрал всю семью, брякнул по столу лапой, да и решили все следом за ним отправить меня в примачи

через овраг, на Горбунцы. Там и жил я с Апросьюшкой до самой Отечественной... Ну, а дальше сказывать некогда, надоть почту везти.

Дядя Ипатыч проходит в сени. Снимает старую, надевает новенькую фуражку — «почтарку»: на люди ж. Идет запрягать мерина в тележку-двуколку.

— Сам сотворил,— подымает оглоблю дядя Ипатыч,— подобрал рессору по вкусу. Двадцать один годок езжу, вожу, стало быть, почту...

Бросает на деревянное сиденье внатруску клеверу и ячменной соломы. Вздвигаемся по пружинящей оглобле на двуколку, катимся на куцей оси, чуем животом колею и колдобины, каждый думает про свое. Я, к примеру, про то, сколько верст (до Погорельца, где почтовое отделение — четырнадцать) промерил за долгие годы дядя Ипатыч. Погода иль слякоть, мороз иль пуржища, а дело не ждет, не отложишь. Вспоминаю похвальбу дяди Ипатыча резиновыми сапогами и плащом, купленными ему дочерью в «кооперации» где-то за Тулой, и соображаю, значит, крепок еще Павин, еще поедит, послужит людям... Как, должно быть, приметен теперь его, павинский, дом всей округе. Сюда, к яблоне, посаженной дядей Ипатычем в честь «новой жизни» и которой теперь за пятьдесят, сюда, к этой резной веранде, к почтовому ящику, несут сельчане письма, посылки, телеграммы и деньги; несут все — и с хутора, и с Горбунцов. Да гадал ли, думал отец его, Ипат Поликарпович, что его сын «неудельный» таким нужным окажется людям?

Двуколка идет ходко. На Горбунцы, затем на Борисово. Павин останавливается у голубых ящичков с гербом; увидев двуколку, на крыльце появляются люди, суют свеженарисованные открытки и письма, наказывают привезти конвертов и марок, подписать на журнал и газету.

Павин складывает письма и телеграммы в поднабухшую сумку. Запоминает, что кому нужно. С полчаса едем молча. Наконец дядя Ипатыч оборачивается ко мне:

— Так вот история моей жизни... что, стало быть, дальше-то было.

Попал я перед Отечественной в Красную Армию. Везли, везли нас аж до самого Бреста. Выгрузили и в рощу. Мать честная, — березы! После всего ровно сроду не видел их. Обхватил одну, прижался щекой. А после зачистил берестинку, отошел в сторону, да и запел. Пел и про

хутор наш, и про дом, и про своих ребятнишек. Ну, что языком говорю, то и ей, берестинкой... Командир багарицы услышал и спрашивает:

— Что это? Осень и вроде как жаворонок?

А ему двое, тоже с наших краев:

— Так это же Павин...

Попросил командир меня — спел. Так и пел по клубам соловья, и синицу, и скворца, и жаворонка. Пел и в Польше, и после в Финляндии. Нет там таких берез, как у нас. Слабая, водянистая шкурка. А береста бересте, скажу, рознь. И ее, стало быть, надо вознать, выбрать какую. Походить, поискать в лесу надоть. Сильно тонкая — свистит резко. Сильно толстая — тянуть силы много, даже в пот тебя кинет. В самый раз неширокая, несущая, нетолстая — на такой хоть слова выговаривай...

Дядя Ипатыч снимает «почтарку», достает заветную берестинку — свой единственный инструмент. Запевает «Страдания», так и слышишь:

Ах ты, дружечка ты, мой голубочек...

Потом идет веселый наигрыш «Русского», за ним грустная «Ночка».

— А в Отечественную, — опять затевает дядя Ипатыч, — за Москву кровь свою пролил. Отбили, помню, атаку, приткнулись кто как с устатку, а тут, гляди, вот-вот попрут снова. Ну я и запел. Зашевелились, заулыбались ребята, потянулись к винтовкам. А он как зачал минами в шахматном, стал быть, порядке. Тут-то ногу мне в небо швырк. Чую: вроде пчела укусила. Вижу: полстопы отвалило. На соловья, сволочь, бил...

Дядя Ипатыч, не жалея слов, все рассказывает. И про то, как над его детишками здесь издевались фашисты, и про то, как вернулся инвалидом на погорелое, как всей семьей бедствовали, как из тринадцати «ребятенков» у него осталось лишь семеро, как работал на колхозном свинарнике, где и получил первую в своей жизни Почетную грамоту.

Тяжко было, куда уж трудней. И у меня закипает в груди, и я думаю: «Да какую же нужно силу, чтобы пройти через все это и тянуться по-прежнему к песне, петь ее берестяным голосом светло и прозрачно, как поют птицы в наших лесах! Сколько надо любви к этой песне, к отчему краю, чтоб оставаться все тем же, из

кого выбивала жизнь кулачищами песню, выбивала — не выбила».

Как бы сразу после войны ни было лихо, он затягивал туже опорки, собирался в клуб — не близок свет, аж в Алешино. На концерт. К людям. Потому что в самое трудное время люди все равно должны помнить, как поют соловьи. Павин пел и в агитбригаде, и в районном Доме культуры, и даже в Москве. На сцене Большого театра...

Мы скрипим на двуколке. Изволоки и спуски. Перед нами, конечно, не рампа Большого — мы у Байдина леса, где дядя Ипатыч когда-то подслушивал «индейскую птицу-кенарку».

— Сейчас я тебе тут театр и представлю, — загорается дядя Ипатыч и натягивает вожжу: — Тпру-тпру! — Останавливаемся. — Только слушай да разумеи. Я пою, а лектор, стал быть, рассказывает. Что и как... Грубые голоса иль высокис. Про природу.

Дядя Ипатыч берет в руки палку, начинает выстукивать ею о колесную спицу. Дерево о дерево, сухое о сухое. Так и видишь: идет ночью деревней сторож — человек веселого нрава, колотушка в руках его так и пляшет; слышу, в такт принашептывает дядя Ипатыч:

Эх, как старинушка бывала,  
Жена мужа бивала.  
Ходи в пуньку-то спать...

Удаляется сторож, колотушка слабеет. Раздвигая ряску, вскидывается лягушонок:

— Турл-турл-турл...

И сейчас же ему отвечает мама-лягушка, турлычет со дна басовито и глухо. Спросонья крикнула утка. Где-то тонко и жалобно, однообразно закричала сова, сухо зашлепала языком. Сову заглушил старый филин, заухал с подвывом, рассыпал частое токаные...

И вдруг грянул соловушка. Все смолкло. Только и слышно, что где-то на другом краю пруда бродит с колотушкою сторож:

Эх, старинушка бывала...

Потом — у дяди Ипатыча — наступает рассвет. Проснулся певец утра — жаворонок. Его сменили скворец и синичка, и перепел...

— Трюк-трюк-трюк,— мягко и нежно зовет перепелочка.— Пить-пить, пить-попить.

— Мава-мава,— монотонно откликается перепел.

— Мава-мава,— передразнил его насмешник-скворец и пошел рассыпаться по-всякому. Прислушаешься — уловишь и кудкудахтанье, и соловьиное щелканье. И артист же!

— Любую птицу прикличу,— разглаживает дядя Ипатыч на коленке берестинку.— И сова начнет надомною кружиться, и перепел на меня нахохлится, как на соперника. Только жаворопок... Этот свой язык твердо знает. Раньше с ночи не подымешь. Головенка, не как у совы, поменьше, а умишка побольше...

И поет жаворонком — светло и просторно, и радостно от раскатистых трелей, будто не осень, и поле не сжато, и березняк не изрежен от опавшей листвы.

Проезжаем хутора и поселки: Братский, Обвал и Победа... От Погорельца повернули обратно. Раздаем газеты, посылки, письма и пенсии. Встречаем улыбки и доброе слово, и просто приветливый взгляд. Замечательно это — быть на земле почтальоном!

— Одно слово — связь,— раздумчиво говорит дядя Ипатыч.— Что фронт не шел вперед без связи, что мирное время...

Мы едем. Молчим. О людях, о жизни. Я думаю: кому дядя Ипатыч передаст свое мастерство, свой редкий талант?

Скоро и хутор наш. Да вот уже и Горбунцы. В одну улицу, ровным гоном до самых ракет. Перед хатами пуньки, погребицы; за одной из них ребяташки, затевающие чехарду.

— Деда! — бегут они к нам.— Что привез? Покажи! Скрипнув рессорой, дядя Ипатыч слезает наземь, на подорожник. Роется в своей толстой суме. Достает книжонку, расправляет ее на коленке, поискав местечко, усаживается под калину-рябину. Обступают его ребяташки.

— А ты чего, Петька? — замечает дядя Ипатыч карапуза, выглядывающего из-за яблони. Тот мигом ныряет за ствол.

— А он без штанов,— наперебой объясняют ребяташки.— Порвал о гвоздь, а мать говорит: не барин, походишь теперь и так.

— Дедушка, голубчик,— водит дядя Ипатыч по странице своим заскорузлым пальцем,— сделай мне свисток.

— Посвисти лучше сам,— раздается голос за яблонькой.

— Спой нам, деда,— встряхиваются ребятишки.— Спой синичкой, скворцом... и русской кенаркой... и журавлем...

Дядя Ипатыч снимает «почтарку», что всегда одевает на люди, достает из нее заветную берестинку и, подняв голову, курлычет ввысь, за калины-рябины, за острые ели, в большое и гулкое небо, кажется, на всю Россию. И слышу я, как, проходя на юг, подворачивают к хутору караваны. Шелестят, шелестят, шелестят... Пускай же летят, кому куда надо. Хорошо птице, когда ей летится.

## Черемуховы холода

Когда цветет черемуха, натекают откуда-то холода. С утра дух черемуховый не был так явственен, но вот воздух остекленел, отстоялся, проредился, и ту улетучившуюся гущину, которую ему придавало тепло, вдруг заменило диковато-горьким, ликующим запахом. Нынешней весной все припоздало: обычно к последнему звонку уже полыхала сирень, а тут распустилась черемуха. Ребята из его десятого стоят стайкой, неловкие, у всех на глазах, и первоклассники дарят им эту черемуховую кипень. И он рядом с ребятами, стоит — размышляет о том, как жизнь в сущности повторима, ровна, одинакова, замкнулась у него между тем же последним звонком, институтом и годом работы в этой вот школе. И у него была та же черемуха, те же слова, даже стихи перед всеми на последнем уроке — о высоком призвании, долге... Тронув привычным движением пальца очки, он неспешно идет держать ответную речь как классная «дама» десятого.

Ребятья взволнованность передается и ему: ведь последний звонок, и они его первые, тот оселок, о который он пытался испробовать все: и толстовские идеи об обучении по желанию, по свободно подобранному материалу, и макаренковское, и сухомлинское. Повозился же. Ираида Васильевна, пребывавшая в педагогах уже пятый год и каждой осенью возрождавшаяся надеждой наконец выйти замуж, встречала его в коридоре, опуская скромно глаза, уязвляла вопросом: правда, мол, что в десятом пляшут у него на столе? Нет, в десятом уже на столе не пляшут — возраст не тот, вероятно. Да и можно сколько хочешь плясать вечерами, когда всем классом они собираются в комнате, именуемой «залой», где стоит старень-

кое пианино и где он играет им вальсы Штрауса, Шуберта и Шопена.

Они вносят с собой в класс охапки черемухи, и белым светом заполняются парты, учительский стол, подоконники. Назначенная на сегодня консультация явно не клеится. Вопросы подбрасывает только Златка Меняйло — палочка-выручалочка, староста, цыганка, у которой от жгучести пробиваются легкие усики и от сдержанной страсти косит левый глаз. «Когда это она успела так заизвеститься?» — словно впервые видит ее Андрей Александрович. Оборачивается на скрип. Под всеобщий гул, вся сгорев, от двери идет Анна Дубровская, Аннушка. Легкая, праздничная в своем светлом шелковом платье, русоволосая, словно ромашка.

— Вы, товарищ Дубровская, — следит он за ней, пока она не присаживается рядом с Меняйло, — вы заставили класс в последние дни изрядно поволноваться. Отчего-то пропал человек, ни слуху ни духу. А тут вот-вот экзамены. Хотели к вам в Вязовое уж идти с делегацией.

Аннушка вовсе склоняет голову к парте, только ярче пунцовеют мочки ушей.

— А знаете... что... Андрей Александрович, — вскакивает неугомонная Златка. — У нас тут сегодня идея... в самом деле, отправиться в Вязовое делегацией, вернее, всем классом... В Москве после бала выпускники идут, например, на Красную площадь. А у нас свой обычай: встречать черемуховы холода в Вязовской роще. Там прощаются... Идемте и вы с нами, а?

— Идемте... такое ведется у нас... обычай... — вскакивают, хлопая крышками парт, десятиклассники.

— Как так? — теряется вдруг учитель. — Прямо так вот и сразу?

— Не нами начато, не нами и кончится, Андрей Александрович, — с вызовом говорит Златка и, сильно кося, смело заглядывает ему прямо в глаза.

Солнце, подержавшись за крышу Дома культуры, наконец отделяется от нее и начинает стремительно падать за горизонт. С Гремучих ключей тянет до одурения черемухой, воздух колеблется всякими звуками: перестуком ведерок, мычаньем телят, грудным женским смехом — смеется с кем-то басистым вдовая тетка Анфиса. В речном затоне турлычат лягушки.

Златка обращивается к Андрею Александровичу и, кося глазом, кричит частушку резко и озорно:

Кавалер, а кавалер,  
Покажи-ка нам пример.  
Не покажешь нам пример —  
Ну какой ты кавалер.

— Ты, Златка, серьезно цыганка? — останавливает ее Андрей Александрович.

— Н-ну! — играет Златка плечами. — У меня мамка из табора. Задержалась тут во время войны, вышла замуж за папку... Вон за ее дядю двоюродного, — кивает она на Аннушку. — Аннушка! — окликает подругу Златка и, взяв ее за руку, приближает к Андрею Александровичу. — Вот она вот про папку моего вам тут расскажет, а я пошла к Петечке своему. Он меня, ой, как любит.

Между тем совсем уж стемнело, на небе выступили крупные звезды. Ребячьи фонарики высвечивают на обочинах бледно-молочные былки то лозняка, то крапивы, за ними — черные глубины полей. Свежо. Аннушка дрожит всем своим легким телом, мелкой несдержанной дрожью. «Вон оно, каково им в платьишках, — думается ему. — Как знобит, колотит в черемуховы холода».

— Аннушка, — говорит он, слушая собственный голос. — Ты чего это, милая, в школу уже как неделя не ходишь?

Он слышит, как она перестает трепетать, обмирает.

— А я школу бросила, — наконец выдыхает Аннушка.

— Ребята! — кричит впереди Златка. — У кого есть спички. Будем жечь костер...

Быстро собирают валежник, посвечивая фонариками, ломают сушняк. Затравливается костерчик. Стараниями Златки он растет, набирается жара, окаляет лица, одежду. Ребята сидят вокруг него без движений, без звуков, чуя в буйстве рваных огненных косм первозданность, проявление дикой природы, а в себе пробуждение радости от владения огнем, от того, что они все умеют, все могут, что и здесь вот и дальше, дальше, в полях, где работает техника, все подвластно им тоже, дай они лишь начнут. Он смотрит на них и завидует, что им еще предстоит начинать, впереди какая-то тайна, а он ее прожил, прошел ее, не заметив, и теперь вот смотрит на пышущий жар, на перебегающие по нему газовые язычки — колыханье его синей птицы и жалеет о том, что напрасно так быст-

ро исчезает огонь, пропадает бесследно, что в нем можно закатить такую картошку. С парком и с сыринкой, с прожаренной корочкой...

Поблизости забрехали собаки — в Вязовом. Возвратилась Аннушка, принесла из дому ведро картошки.

— Молодец! — похвалил ее Андрей Александрович. — Догадалась. А то мы тут проголодались, как кукушкины дети.

— Видите, какая у нас картошка, — обрадовалась Аннушка. — Крупная, крахмальная. На черноземе росла...

Губы вскоре у всех зачернелись. Златка первой подвела себе горелой картошкой брови, и уголки глаз. «Да тебе-то зачем, смоляной», — подшучивали девочки и, уже хохоча, наводили себе красоту. Смеялись выдумке парни, смеялся и Андрей Александрович, засмотревшись на Аннушку. На лице ее лежал красный костровый отсвет, оттого и веснушки исчезли, глаза потемнели, углубились, стали крупнее, таинственнее, уходя наведенными линиями за виски, в темную кротость ночи.

— Айда рвать черемуху, — сорвалась неугомонная Златка, и все ринулись в ближайшие заросли. Потом девочки плели венки, где-то в глубине закуковала кукушка.

— Здравсте-пожалуйста, проснулись, ваше сиятельство? — звонко, на всю рощу, крикнула Златка.

— Ты, кукушечка, скажи: сколько лет еще мне жить, как любовь приворожить, что на воду положить... — шепчет Аннушка, чуть подавшись на птичий голос, и все смелее, откровеннее взглядывает на него. И он не отводит глаз, слушает, притишая дыхание, и чувствует спиной, как с низин натекают волглые токи, и от них начинает бить руки и плечи — черемуховы холода.

Луна поднимается. Быстро движется и бледнеет. В лозняке полосой светится речка, меж стволов протягиваются голубовато-серые столбы. Радостно, жутко и сказочно.

— Айда пускать венки, — подмигивает Златка девочкам, и вот они уже трещат валежником вверх по реке. Парни важно дымят «Беломором», вслушиваясь в плеск воды на перекате, в гул машин на дороге, в шорох листьев. Ожидают. Вскоре валежник снова трещит под ногами. Запахавшись, подбегают девочки, подсаживаются к костру.

— А ну, давай русского! — хмелея, требует Златка и, откинув голову, встает перед «своим Петечкой» — Петром Березанцевым, вызывает его в круг частушкой. Парни вскакивают, дремота мигом слетает. Ведут губы мелодию, звенят дружным звоном ладони, озорует разбойничий посвист. Находится балалайка-трехструнка. От костра по деревьям мечутся тени. Сыпят дробью девчонки, вызывают в круг своих суженых, и летит из-под ног трын-трава.

Стоит Аннушка, стоит — смотрит на Златку.

— Ну-ну, — толкает та Аннушку. — Ну что же! А то я сама... сама вызову...

И вдруг, перекрывая все, у реки раздается радостный вопль:

— Венки проплывают!

И все суженые бросаются к речке. На броду ловят венки, гомонят, толкаются, ахают: **тог ли?** Лишь один веночек, покачиваясь, удаляется по лунной дорожке. Плачет Аннушка.

— Эх ты! — вскипает Златка и хватается за рукав Андрея Александровича, увлекая его за собой. Улыбаясь, он делает шаг вперед и вдруг падает в рытвину, окунается с головой. «Ах, дьявольщина!» — всплывает он и отплевывается, горячится и, как есть в пиджаке, саженками бросается догонять пропадающий за поворотом венок.

— Ну вот, — говорит он, наконец выбравшись на берег, — что мне с ним изволите делать?

Все притихло. Только и звуков, что шлепают тяжелые капли с пол его пиджака да у слабеющего костерка шепчутся тени.

Аннушка ждет, подняв худенькие, острые плечи. Он нащупывает в венке несколько кувшинок-«кукушек» и вспоминает недавнее кукованье птицы и Аннушкин шепот и, улыбнувшись, надевает веночек Аннушке на голову. Она вдруг касается его рук щекой, потом губами.

— А ведь я очки потерял, — глухо говорит он и отворачивается. Они лезят по берегу, по траве, заходят и в воду. Лунного света им не хватает, и он начинает жечь спички, желтое пламя высвечивает лицо его — непривычное, жалкое, с усталыми мальчишескими глазами. Поиски откладываются до восхода солнца, а пока она берет его за руку и ведет, покорного, рощей, лунными голубы-

ми столбами. Он чувствует на себе ее взгляд, странный взгляд. Так бывало и на уроках...

— Что же ты сейчас делаешь, Аннушка? — спрашивает он, думая об экзаменах.

— Я... люблю, — говорит она просто.

Голубые столбы опадают, принимается сеянец-дождь. Они прилипают к толстому шершавому вязу и ждут. Под шепоты листьев ему вспоминается все вокруг тоже белое, но не черемуховое, а снеговое, январское. Вот он бежит целиной, без лыжни, на Кривцовскую ферму к дояркам, на политкружок. А Елены Дубровской, сестры Аннушки, на занятиях нет. И он волнуется, в пургу полями решает идти в Вязовое на огоньки... Он приходит в себя в чьей-то комнате, в чьей-то постели. Болит тело, обморожены уши и щеки. А за перегородкой, в передней, воркует Елена, счастливо вторит ей смехом мужчина. И Аннушка, сидя напротив, смотрит на него поверх книги долго и странно...

— Ну, и что же Елена? — спрашивает он Аннушку.

— Елена? — вздрагивает она и молчит. — А Елена красивая, да?

— Да.

— А Елена уехала... в город.

— К-как уехала?

— А так. Вот уже неделю как замужем. За инженером. А я на ее месте на ферме... Мы ждем, а вы все не приходите. В понедельник вот не были.

— А как же со школой? У тебя остались только экзамены... Ты так училась, тебе надо дальше...

Аннушка поднимает голову, смотрит ему прямо в глаза.

— Вы думаете, я все — маленькая, да, маленькая? — вспыхивает она, и голос ее готов сорваться. — А я хочу, как Елена. Своими руками, своими трудами... А ваши экзамены после, и институты всякие после. Мне работать надо, у нас детей много, а отец — пьяница. А вам, Андрей Алексаныч, за все, за все большое спасибо. Вы глаза мне открыли, я теперь хоть добро в людях видеть стала, на белый свет вашими глазами смотрю...

Он стоял задохнувшись. «Боже, за что все это, за что? Ведь не достоин, не такой, не такой... Ведь сам за собой знаю много... А она, а они... Нет, нет! Да, а может, это любовь? Если это всерьез? Великое, редкое, безумно ред-

кое счастье. Вот ты прожил двадцать три, и что же? Ниты, ни тебя... В очках, незаметный, в затертом костюмчике. Все пять лет за книжкой. И головы не поднимаешь, бывало, на танцах... А тут ты — учитель, прямо «лыцарь» какой-то, герой...»

Темнота ослабляется, воздух сереет, листья отливают стальным. И вяз начинает двигать, шевелить тонкими ветками. Рождается ветер.

— В кабинете физики место лаборанта освобождается,— говорит он.— Пойдешь?

— Мне на ферме нравится, хочу зоотехником...

Очки оказываются в воде, возле самого берега. Он водружает их на перепосицу и в пришедшем рассвете видит Аннушку в прозрачном от сырости платье, натянутом на плечах, видит весь до шершавинки вяз.

— Эге-гей! — кричит на всю рощу Златка и ловко, подтягиваясь, лезет на макушку вяза. — Люди добрые-е-е-е! — Эхо летит по деревьям, по речке. — Вижу: тучки уже разбежались, и восходит солнце-е!

А лучи уже розовят ей лицо, и костер снова весел, просторен, так приятны возле тепла черемуховы холода. Все сидят вокруг побледневшие за ночь и строгие. Все такие знакомые, близкие. Что-то сжимает горло Андрею Александровичу и мешает дышать.

— Друзья мои,— делает он шаг вперед, чувствуя, как что-то накатывает на него и куда-то несет.— Вы вступаете, да, вступаете в жизнь! Здорово это, а? Когда все впереди... Все — впереди... Будьте же людьми настоящими. В трудную минуту не забывайте друг друга.

И когда кому станет туго, вообразите костер наш и эту вот речку, и... черемуховы холода. Пусть главными словами для вас станут эти вот: и восходит солнце!..

Когда со смехом и песнями они проходили мимо Аннушкиной фермы, в дверях кормокухни показался заспанный сторож.

— Уж и... и... на дойку? — удивился он Аннушке.— А чего расфрантилась?

— Принимай экскурсию,— засмеялся учитель.

— Проходи! — осерчал дед. — Я, того, могу и пальнуть. Полуночники, шлындают. А еще, того... учитель...

Аннушка вышла с подойником и в халате.

— Приходи на экзамены, Аннушка,— сказал он ей, и все зашумели, закричали:

— Приходи!

— Приду-у-у,— махала она рукой.

Не помня себя, Андрей Александрович пролетел все село. Прошел заросшим садом, влез в горенку через окно. И, спустя миг, в постель к нему ворвалась, все густея, густея, черемуховая пурга. Завертело-завьюжило и лыжню в Вязовое, и лицо Лены, глаза Иранды Васильевны, и синюю птицу в костре, мокрое Аннушкино плечо. Он приподнялся на локоть, прислушался к стуку в себе, и ему захотелось любви.

## Ночной председатель

Дорога полегоньку твердела, лужицы затягивались стеклом. Всхрустывая им, я добрался наконец до правления. Было то зыбкое состояние воздуха, когда день отошел не совсем, а вечер еще не набрал своей силы. Небо казалось невысоким, тяжелым, сливаясь вдали с серовато-стальной деревенской улицей. В конце ее, у конторы, слегка шевелили нижними ветвями ветлы — от тепловатого воздуха, выжимаемого морозцем из раскисшей ноябрьской земли.

— Быть к утру инею, — приветливо кивнул мне старик в пышной ондатровой шапке и шагнул на порог. Я заспешил вслед за ним в помещение. Председатель, к сожалению, только что отбыл на «козлик» в город, к себе на квартиру.

В комнате, очевидно после наряда, заседали человек пять или шесть — компания, как мне показалось, привычная. Электролампочка вполнакала, не дотягивая до углов, делала комнату меньше, уютнее. У окна, за столом с телефоном, развалился молодой, красивый, щедроволосый парень — бухгалтер Екимов. Он без конца скалил крупные, как чеснок, завидно белые зубы и время от времени, когда особенно круто забирал разговор, хлопал в восторге себя по коленке ладонью. Напротив него, подле графина, прикорнул бригадир тракторной бригады Непиймолоко — на вид человек болезненный, смирный. В стороне сидели еще три-четыре колхозника, в лицах которых я не заметил ничего выразительного.

Зато старик, введший меня в это общество, представлялся в высшей степени интересным. Был он белобров и белобород. Слыхивал я, что поседел он еще молодым

в один день, когда, возвратившись со станции, узнал, что семью его, как активиста, начисто вырезали кулаки. С тех пор и жил он в правлении, топил печи, был здесь вроде за сторожа. В войну отгонял скот в восточные области, а после снова вернулся на прежнее место. Так и живет по сей день на виду, на самом толчке. Сколько председателей перебивало в колхозе, а Кузьма, уже и состарившись, все при конторе; вот и в новом правлении приспособил себе угол за печкой...

Узнав, что я собираюсь здесь ночевать, он засуетился, сходил за углем и дровишками, решил подтопить «заезжую комнату». И когда в печи загудело споро и весело, поставил в загнетку трубой медный, натертый мелом полутораведерный самовар (память, наверно, о семье) и, вытащив на люди свой рундучок, стал доставать из него немудрящие свои припасы — поллитровую банку с вареньем, кусок зачерствевшего хлеба и еще какие-то узелки, в которых оказались колотый сахар, сушеные ягоды — терн и шиповник.

— Ах да, дед! — вспомнил бухгалтер Екимов и извлек из стола промасленный сверток. — Тут мать моя передала тебе пышки. Пшеничные. Сам, кардан-на-мордан, на-медни ездил на мельницу.

Только он собрался рассказать про столбецкого мельника, который больше мелет языком, чем вальцовочными жерновами, как заходили в сених половицы — в дверь вдвинулась обширнейшая фигура. В хромовом пальто и бараньей кубанке.

— Кто тут? — щурясь на свет, густо спросила фигура.

— Ну я... кг-мы, — слегка оробел дед Кузьма.

— А нет ли кого поруководящей? — смерил его взглядом вошедший.

С минуту все молчали, разглядывая залетевшую птицу.

— Так он тут у нас самый руководящий, — сорвавшись, затараторил бухгалтер Екимов. — Можно сказать, ночью за председателя. Человек из народа!

— Ах, новый заместитель? — смягчил вошедший голос до баритона. — Ну, а я — будем знакомы — из центра. Из райдоручастка.

— Ага, — оскалился в белозубой улыбке бухгалтер Екимов. — Это из той организации, что снег, значит, чи-

стит? Мы звоним, просим: сделайте путь от колхоза до города, а у вас отвечают: кто насыпал, тот, мол, кардан-на-мордан, пусть и убирает.

— Шутник вы,— покосился вошедший на говоруна и оглядел собравшихся.— Анекдотами, стало быть, балуетесь? А то вот свежий...

— Не надо,— сморщился Екимов.— У нас тут своя контора — кинопрокат. Вон хоть Кирилл Тимофеич...

Бригадир Непиймолоко промямлил что-то и снова угрюмо уставился в печку, протянув к огню сухие, темные руки.

— Пальцы у тебя, Тимофеич, гляжу, вроде потонели,— не унимался бухгалтер Екимов.— Ай, кардан-на-мордан, отмыл после лета?

Дед Кузьма, пребывавший до сих пор в напряженном молчании, как-то встряхнулся, заговорил мягко и примирительно.

— Репей ты, Екимов. Ну, что ты в пальцах-то, скажу, понимаешь? — рассуждал он спокойно, подсаживаясь к самовару с голенищем от старого сапога.— Пальцы — вещь, скажу, деликатная. Хоть на пианинах, хоть в магазине... Эх, помню, еще при нэпе заколол я коровенку — да в Харьков. А там на вокзале шпаны — ложкой не провернешь. Карман не гуляет. То один в него, то другой. Продал я мясо, захожу к сестре. «Ехать боюсь, говорю, деньгами весь заминированный». — «Ничего, смеется, у нас тут на вокзале хошь кого разминируют». Ладно, думаю. Взял клубок свойских ниток, иглонок в них да в карман. Какой жулик попнется — враз руку назад и ну ругаться: «Ишь, деревня! Ишь, темнота!» А я им: «А вы, господа, дюже светлые, а чего ж голяком суетесь?»

В комнате грохнул хохот: квохтал в рукав Непиймолоко, не отставал от него бухгалтер Екимов, громче всех басил человек из райдоручастка, и только дед Кузьма, как ни в чем не бывало, продолжал сапогом накачивать воздух, и, когда из трубы, направленной в загнеток, полетели длинные искры, сел на табуретку, передохнул. В темных углах, на лозунгах и портретах задрожали красноватые блики. За стеной прошумела деревенская улица, разудалый голос переплетался с гармоникой:

Девки в клуб, я за ними...

— Вот жарит, кардан-на-мордан! — хлопнул себя по коленке бухгалтер Екимов. — Это же новый завклубом, постоялец Паранькин. Иду вчера с фермы, а он мне навстречу. «Чтой-то, говорю, у тебя челюсть на привязи?» — «Шюбы», — приотворяет рот. — «Ах, зубы... А как же, спрашиваю, извините меня, заправляемся?» Махнул рукою: какая уж там заправка. А тут на грех — Паранька, вертанула хвостом: «Этот кот-мот. Хлебает суп половником. Не успею налить, повернуться — глядишь, утер миску...»

— Плохо быть бухгалтером, — вздохнул Непиймолоко, — быстро помирают. Все считают, что сколько съел, сколько выпил. Подсчитают, ужаснутся и помирают.

— Вот-вот, — изрек человек из района. — Даже науку такую ввели — демографию.

— А ты, товарищ, о нас не хворай, — сунулся с папиросой Екимов к пышущим угольям самовара. — В колхозе сейчас есть что поесть. Рот свой — верно говорю? — пока обрабатываем.

— С культуркой у вас... того, — усмехнулся человек из района. — С неделю тому проезжал, заглянул в ваш клуб. Весь на щепках. Под бильярдом — щепки, под крыльцом — щепки, под углами — тоже щепка.

— Все культурой нас попрекают, — вздохнул Непиймолоко, — а с некультурных-то спросу меньше. Угнешься, сожмешься, а культурный тьяни...

— Да уж молчал бы! — махнул на него дед Кузьма и поднялся, заходил, взволновавшись, по комнате. — Клуб у нас, дорогие товарищи, и взаправду на щепках. Хоть навроде и новый. А почему? Да кабы его плотники делали, а то портные. Шабашили тут из Белоруссии. А где свои люди, спрашивается? Оперился и — в город. Вы слушаем, скажу, не из деревни?

— Вологодский я, — заокал человек из района и выставил важно кадык: — Вологодский москвич.

— Это как понимать?

— А вот так. Это я только родился в деревне, а так жил в Москве... десять лет. Приехал в район к вам по причине перевода жены. Так сказать, на укрепление.

— На укрепление, значит?

— Ну да. Мы с Фирой Семеновной...

— Вот ты из деревни уехал, бухгалтер Екимов собрался... Ну, а кто тут у нас будет клуб со щепок сымать

да на твердые рельсы-то ставить? Как по радио партийный пленум толкует...

— Ты мне голову щепками не морочь! — вскочил человек из райдоручастка и, наливаясь кровью, ударил рукой по пиджаку: — Я свое отдал. Я, скажу тебе, бывший пастух. Во! Пас овец и это... гусей. А потом возглавлял сельсовет. А потом возглавлял сельпо. А потом комиссию по несовершеннолетним. А сейчас...

— Да ить все теперь у нас не из бар, — вздохнул дед Кузьма.— Партия ныне как говорит? Надоть всем партийное сознание, а к нему в подпор еще и знания. А ты — пастухом! Теперь и стаду, чтобы молоко было, подавай карбомид...

— С таким сымешь со щепок клуб, — оскалился в белозубой улыбке бухгалтер Екимов.— Сам, гляди, на щепе стоит.

— А ты не вздергивай, кого постарше, не вздергивай,— осадил его дед Кузьма.— По-нынешнему и твоя десятилетка — это так, понимаешь, внатруску...

Человек из района сидел, показывая всем своим видом, что не согласен с «обществом», но и не смея возразить из глубоко стратегических соображений. Сегодня он чувствовал себя отвратительно. Еще с утра настроение изрядно подпортил звонок из райисполкома, из которого он уяснил, что поскольку мост через Неричь, только что сданный, ухнул под дизелем, ему ожидать неприятностей. А тут еще эти со своими досужими щепками...

Некоторое время все сидели, насупившись, молча, затем самовар запел, разговорился. Дед Кузьма любовно отер тряпичей его сверкающие бока и водрузил на стол, который под тяжестью ахнул и пошатнулся. Сначала все лениво отказывались, а дед Кузьма напирал, завлекал испить «свеженького, с пару, с мягким дымком самоварного чаю, от которого враз снимается всякая хворость». Постепенно мужички попридвинулись, в ход пошли и стаканы, и графин, и дедовы банки, и даже жестяная кружка, обычно прикованная железной цепью к бачку, руки потянулись к магазинному сахару и леденцам, Екимовым пышкам, глазированным жамкам, души отпустились, размякли, разговор пошел размереннее и вольнее.

Подправил кипяток настроение и человеку из райдор-

участка. Он пил из жестяной кружки внакладку, пил до слез и до пота.

— Это по-нашему, по-вологодски. Добрый самовар. Не то, что из чайника, с блюдечка у Фиры Семеновны...

— А чтой-то ты, Екимов, не женишься? — задевал дед Кузьма присмирившего после чаю бухгалтера.

— А я, кардан-на-мордан, молодой еще, по зелениям похожу.

— Фроська-то Тихова по тебе убивается.

— Нетесана больно. А поги что тебе кренделя. Коленка об коленку, аж искры летят.

— Он к соседке моей наведывается, — ухмыльнулся Непиймолоко.

— Та денги ей приносил! — вспыхнул бухгалтер Екимов. — Сельсоветские. За последнего ребенка. А Паранька мне: я, говорит, самый несчастный человек на планете — у меня семь детей, и все от разных отцов.

— Да уж поналепила, как куличей на праздник, — подал голос кто-то из колхозников, пребывающих до сих пор в роли молчаливых.

— Ничего, воспитаем! — отрезал дед Кузьма. — На Параньку средств в нашем колхозе хватит.

Он подставил стеклянную банку под самовар, отвернул кран — больше не потекло. Все. Начал убирать со стола посуду и всякие свертки. Отнес их за печку, в свой угол. Снова сел на прежнее место. Сидел и слушал, как начинает подвывать там, в трубе, за окном.

— Так я к вам по делу, товарищ замес... — наклонился к деду Кузьме человек из района, но тот не слушал его, думая о чем-то своем.

— Жениться тебе, Екимов, пора, — сказал он серьезно. — Самая тебе пара Тихова Фроська. Свадьбу справим, какую положено... Как, помнится, дяде ес — Сергею Антонычу — тому, что с Кривого Кутка. Преотчаянный был комсомолец.

— Живой Сергей Антоныч-то? — шевельнулся кто-то в углу.

— А чего ему... С отца его — век батрачил — грязь лопатами сгребали, а Сережка сейчас в Москве прокурором. Второй год, правда, чего-то не пишет. Ай в Москве, говорю, бумажная фабрика сгорела?

— Фабрика не фабрика, — поднялся Непиймолоко и задернул на окне занавеску, — а в мире огня куда хва-

тает. То тут, то там империализм со спичками в самый мотор.

— А на это у нас ракеты,— живо откликнулся дед Кузьма. — Пишут газеты: точность у тех ракет, я скажу, сумасшедшая. Вот это ты навроде сидишь, а я на мушку тебя да вместо правого глаза — в левый. Сейчас дело не в том, как ударили кнутом, а как прицелились.

— Да ты у нас, дед, агитатор,— отвалился на спинку стула бухгалтер Екимов. — А скажи, почему у какого-то там... вымершего короля Саудовской Аравии имя такое вот длинное — Сауд ибн-Абд аль-Азиз ибн-Абд-Ар-Рахман аль Фейсал-аль Сауд?

— Скажи, сколько поначеплял,— удивился дед Кузьма. — Как вагонов в товарняке. Ишь, погромыхивает... И надо ж тебе, Екимов, запомнить все это!

— Запомнишь,— мрачно поглядел на него бухгалтер. — У меня от этого мозги уж повывихнулись. Ругаешься, десятилетки мне мало — уеду вот от вас в институт...

— А у меня есть знакомый профессор,— человек из района даже привстал, чтоб наконец обратить на себя внимание,— так он везде побывал: и в Париже, и в Брюсселе, и в этой самой Аравии...

— А на войне он был? — срезал его Непиймолоко. На столе у Екимова зазвонил телефон. Дед Кузьма, крихтя, протащился к нему, поднял трубку — вялость сняло как рукой.

— Ждите! — крикнул он в трубку. — Ну, конечно, конечно... Сейчас же пошлю.

— Катька Цветаева рожать вздумала,— сообщил он нам. — Слушай, Екимов, ступай домой — зайди по пути к Сеньке Бакаеву, у него новый «газон». Скажи: мигом во вторую бригаду за Катькой и в больницу ее. Я, мол, скажи, приказал...

Человек в кожанке и бараньей кубанке, с таким важным видом вошедший в контору и терпеливо искавший повод склонить разговор в свою сторону, видно, только сейчас понял тщетность своих усилий, да и печь припекала изрядно, а кожан ему снимать не хотелось, подчеркивая тем самым временность своего пребывания в данном обществе, и потому после долгих потений он наконец вознамерился действовать более решительно.

— Собственно говоря,— поиграл он в руках бараньей

кубанкой и доверительно наклонился к деду Кузьме, — как уже отмечалось несколько выше, я человек в районе у вас тут новый... я насчет того дела.

— Это какого же?

— Того, о каком мы с вами по телефону...

— Говорите, чего там. Какие могут быть тут секреты?

— Ну, о мясе... Баранинки обещали выписать. А то ведь снег, хе-хе-с, чиститься сам не будет.

С минуту все сидели, не зная, что и говорить.

— Чего? — вскочил, сообразив наконец, дед Кузьма. — А катись-ка ты отседова... пока дорогу не занесло.

— Так это ты, дядя, не с тем, — загудели в конторе. — Это ж ночной председатель. А ты с кем же по телефону?

— Как не тот? — изумился человек из района и выругался матерно: — А какого ж... мне тут морочите? Целый вечер ваши дурацкие анекдоты выслушиваю... Шапку-то, шапку где взял ондатровую?

— Руководящую шапочку? Ха-ха-ха, — зареготал, смекнув все, бухгалтер Екимов. — А руководящую шапочку Сергей Никитыч, прокурор, кардан-на-мордан, ему из Москвы персонально.

Человек из района хлопнул дверью. Вскоре зарычала, рванулась с места машина, и все снова затихло.

— Кабы у Ивана Ивановича карманы в галифе были поуже, — подал голос Непиймолоко, — жизнь скорее бы лучше...

Они еще долго сидели, обсуждая случившееся, председателивы штучки, говорили о том, что надо бы вытащить на общее собрание ревкомиссию да покрепче спросить с нее, до каких пор будет растекаться по чьим-то карманам общественное добро. А самовар уже кончил свою песню. Все реже перебегали по темнеющим углям синеватые огоньки, затухала печка. Ветер начинал бухать оторванной ставней. Не хотелось думать ни о ночи на дворе, ни о крепчающем холоде.

В сенях скрипнула дверь.

— Ой, лышенько ты мое, — появившись, прямо с порога запрчитала жена бригадира Непиймолоко Оксана. — Зовсім чоловік вит дитэй, вит жинки отбився...

Все разом встали, засобирались домой. Вскоре мы с дедом Кузьмой остались одни. Раза два он выходил на крыльцо, вслушивался в кромешную темень. После третьего возвратился довольный: машина прогудела в го-

род верхней дорогой. Я лежал в «заезжей» и сквозь дощатую переборку слышал, как не спалось деду Кузьме. Он поднимался с постели, закрывал вьюшку, ходил по комнате. Потом опять зазвонил телефон. Я живо представил, как дед прижимает трубку к уху, как вслушивается в голос издалека.

— Где сидите, товарищи? — кричал он. — В Гнилом Логу?.. А зачем тебя черти понесли той дорогой?.. Гляди, отвечаешь за Катьку-то... А трактор сейчас высылаю... Высылаю, говорю!

Он еще раз чертыхнулся, хлопнул о пол каблуком для осадки. Через минуту шаги прохрустели у меня под окном. Должно быть, дед побежал к ближнему трактористу, а может, и к самому бригадиру.

Пропели еще одни петухи, а моего деда все не было.

## Аксиньин свет

В полдень с ней случилась беда. Снег, обильно выпавший ночью, навалился на крышу, крыша прогнулась, прогнувшая балка наконец хрястнула, и не успела Аксинья метнуться в сторону из-под коровы, как что-то тяжелое, мощное лупануло ей в спину.

Сколько раз говорила она бригадиру про эту проклятую балку: «Подведет она под монастырь. Ишь, нависла над симменталками». — «Ни черта ей, — отсмеивался бригадир, с утра изрядно хвативший, — перестойт и тебя». А, выходит, не перестояла...

Прискочил из Пантелеевки председатель, сам помогал грузить в свой «козел» пострадавшую. Аксинья пришла в себя, смотрела на председателя укоряющим взглядом, даже и пальцем не двигала.

Прибежали из школы перепуганные ребяташки Аксиньины — Ваня и Олечка, упали перед ней на солому. Аксинья смотрела на них, и крупная, светлая капля, сорвавшись с ресницы, тихо двигалась по щеке...

В больнице Аксинья лежала в двухместной палате. Лежала, провалившись во тьму, три недели. Очнувшись, увидела белые стены, услышала запахи, которые слышала только единожды, когда болел горлом ее меньшей — Ванечка, и потому не сразу-то поняла, где она и что с ней. Потом Аксинья почувствовала неудобство позы, в которой она пребывала: лицом вниз, руки и ноги на привязи, почти все на весу, на каких-то распорках... Она напрягла свою память и вспомнила тот злополучный полдень на ферме.

Соседка ее была давней жительницей этой палаты. Она уже полегонечку двигалась на костылях; иногда, под-

сев к Аксинье, принималась рассказывать про свою жизнь, про работу. Боль в спине вроде бы притишалась, когда Аксинья вслушивалась в ее неторопливую речь.

— Сюда, милая, — ворковала Мария Степановна, — на короткое время не попадают, так что лежи, терпи. Привезли врачи — значит, надеются. Была тут до тебя одна — Любочка, с контузией, все плакала. Сгорела со всем. А вот Вера Ивановна до нее, с переломом спинного хребта... сильная женщина... на поправку увезли, на курорт...

Иной раз слова соседки проходили как-то мимо сознания Аксиньи, не трогали ее, не задевали. Она лежала и думала о своих ребятах Ване и Олечке — («кому они теперь, горемычные?»), о своем муже Василии («и вовсе теперь отобьется от дому»). И мысли ее переходили на родное, привычное, давнее: на двор свой, на хозяйство, на ферму...

Проходил месяц, другой. Дело не улучшалось. Кол, однажды вступивший в спину, так и держался. Иногда, удивляясь, Аксинья наблюдала, как Мария Степановна делает по утрам, вечерам какие-то непонятные движения руками, ногами; узнала потом — физзарядку; как массирует усохшие ноги энергичными, сильными пальцами, тяжело дышит, утирая обильный пот полотенцем.

Через полгода Марию Степановну отправили на курорт. Аксинья умолила врачей, чтоб ее отвезли домой, к детям.

Ее провезли на машине в крестах через весь Синь-Колодезь, гложущий в вишневых садах, пронесли на носилках через двор, на котором с детства она топтала подошмой босыми ногами, положили на постель в клетушке за печкой, где в студеные зимние дни содержался, бывало, теленок. Явились дети ее — Ваня и Олечка. Семилетний Ваня сейчас же стал показывать Аксинье палку, из которой он сделал себе автомат, а двенадцатилетняя Олечка мигом слетала в сад и принесла Аксинье решето, полное чернеющей вишни. Аксинья улыбнулась детям уголками губ, глянула на потолок, знакомый до каждого потека-разводинки, и облегченно вздохнула. И начала ждать Василия.

Василий приехал домой уже ночью. Замерев, Аксинья видела, как он осторожно прошел к столу, присел, оперся на локоть и просидел так часа два, глядя прямо перед со-

бой в одну точку. А утром, чуть свет, подошел к ней (она притворилась спящей), постоял, сняв картуз, и снова на дворе загудел Васильев «газон».

Аксинья попросила, чтобы ей подняли повыше постель и поднесли к самому оконцу, выходящему во двор. Отсюда виделась ей и часть улицы. Вот Олечка («моя дорогая помощница») вышла покормить кур, а потом прошла с тяпкой на огород. Вот Ваня погнался за бабочкой и плюхнулся за ней голяком на крапиву. А во-он подальше сосед Чепель спешит с сумкой куда-то. Чепелиха, наверно, послала в лавку за хлебом... Все проходит перед глазами Аксиньи, вся деревенская жизнь; будто бы и не отлучалась Аксинья в больницу, вечно жила здесь, стояла, глядела на все, как вон та старая ракета, которую тоже ведь не сдвинешь с места. Как воткнул прутком вземь еще ее, Аксиньин, дед по отцу, прозванный в Синь-Колодезе Берендеичем, так и стоит...

Наведывались подружки-доярочки, приносили всякие новости. Говорили, что Аксиньину группу отдали вчерашней десятикласснице Алене Ручевой — дочке старой доярки Матрены Кондратьевны. «У этой твои коровки не пропадут, — тараторили Аксинье подружки. — Уже сейчас выходит девка по колхозу на третье место». Иногда девчата приносили Аксинье гостинцев иль книжек, Аксинья слушала и молчала, и нельзя было понять ее, радуется ли она приходу подружек, желанны ли для нее эти книжки, гостинцы.

Девчата передавали ей все, что носило по деревне досужее «бабье радио»: кто на кого взглядывает томно, в какой хате намечается свадьба, кого выдвинули на орден, а кто на зерноскладе проворовался... Но однажды Аксинья почувствовала в девчатах что-то неладное. Постояли они, потолковали про то про се, затеяли было о зяби, но лишь только Василий, вернувшийся вторым рейсом со станции, шагнул за порог и завозился в загнетке, покосились на него и одна за другой потихоньку исчезли.

Допоздна Аксинья пребывала в смутном волнении. Не спалось, да и только. А ночь была серебристая, лунная. Видно было до самого Чепеля — каждую ветку, каждую былку под пепельным светом. Аксинья смотрела во двор, и беспокойство, не покидавшее ее со времени посещения подружек, не уменьшалось и не усиливалось, а стояло в ней ровно и плоско, темной прудовой водой,

смягчаемой разве что лунным рассеянным светом. Вдруг Аксинья ощутила вдали движение. Пригляделась: двигались двое... Что-то ухнуло и остановилось в груди. Неужели Василий? Но с кем, кто она? Прижались к ракете, к той самой, под которой когда-то встречалась она с Василием...

Жизнь для нее стала невыносимой. Дни казались похожими друг на друга — грузными, вязкими. Для чего и живу, думала она, ну для чего? Лежу пластом, словно каменюка. Да ведь и каменюка лежит до поры, пока не пойдет в работу, например, под фундамент. Сколько хлопот другим с нею, господи! Вот уж образовались и пролежни, и Василию с Олечкой приходится теперь перестилать простыни каждый день, не наготовиться мануфактуры...

Она ловила себя на мысли, что как-то по-особому, с дрожью и страхом смотрит на свой столик с едой и питьем, на ножик у хлебной коврижки, которым Василий к покрову резал подсвинков, и каждый раз, задохнувшись, прогоняла из мыслей дурное. Да ведь это ж последнее дело. И люди тебя не простят. Все чаще, когда становилось невыносимо, она вызывала в воображении картины тех мест, тех времен, когда она была юной еще и могла часами, лежа в траве, смотреть в это бездонное небо, наблюдать за бело-кисельными облаками, представляя в них всякие чудеса, всякие байки-побаски, слышанные-переслышанные ею от Берендеича. А как приятно было плыть, словно кречет, по воздушным потокам, не чувствуя тела, махать руками, забираясь все выше... Страшный зуд на спине возвращал ее в хату обратно, и виденья кончались.

Аксинья теперь почти ничего не пила и не ела. И таяла, таяла. Как-то пришел председатель. Еще с порога уловил тяжкий дух в хате, сунул оторопевшим у двери бледно-прозрачным Ване и Олечке огромный пакет с апельсинами, купленными по оказии в городе, молча прошел за печку к Аксинье. Всю жизнь перевероршил Егор Тимофеевич с Аксиньей, вспоминал ее молодой и красивой, когда в школе он, ее одноклассник, чего там греха таить — вздыхал по ней тайно, а женился вот на ней балагур и красавец Василий, пока он, матрос Егор Петрович, охранял берега Отечества на эсминце.

— А пошла за меня, если бы не Василий? — улыба-

ясь, допытывался председатель.— Таковую б свадьбу с тобой закатали!

— Седой уже ты,— молодея душой, шевелила сухими губами Аксинья.— Моя-то жизнь конченная, детей только бы...

— Не смей так. Не должна так говорить, прав таких не имеешь. Жизнь дается только один раз... И детей на ноги ставить... Так вот, на правлении решили пенсию тебе, Аксинья Сергеевна. И с Чепелихой уже столковался, заплатим ей, пусть ходит за тобой, помогает по дому и так... А по весне выхлопочем на курорт.

— Спасибо вам,— замлелась Аксинья.— Спасибо... А вечером Василий едва притащился домой.

— Не твое дело, почему пьян я,— сказал он, еле ворочая языком, хотя она и не пыталась ему говорить что-либо. — Я пью вот, и все.

Наутро он не смотрел ей в глаза. Молча гремел ухватом в загнетке, грел воду теленку, замешивал корм курам и поросенку. Проводил ребятишек в школу. Так и не взглянув на нее, сам ушел в мастерские. На ремонт «газона».

Через несколько дней Василий привел в хату женщину.

— Наш завгар,— кивнул он на нее Аксинье.— Переехала в колхоз наш из «Дружбы», просится на квартиру.

Олечка стояла потупившись, изредка взглядывая то на отца, то на незнакомую женщину с ярко накрашенными губами, в коротенькой плюшке, в новых резиновых сапогах. Ваня стоял, прижавшись к сестренке.

— Что ж,— вздохнула покорно Аксинья,— надо ж человеку где-нибудь притулиться...

Дни стали короче, «с воробьиный хвостик», говорила Чепелиха. Теперь в оконце Аксинье был виден двор в маслянистой осенней грязи, кой-когда уже густеющей от морозца. По лужам ходили куры. И небо, набухшее снегом, висело над ракитой так низко, как будто смыкалось вдаль со стальной дорогой, которой теперь Василий с завгаром ходил утрами к себе в мастерские.

Ночами было ей еще муторней: оконце делалось во-всё черным, да в передней на конике ровно дышала Кланы, Клавдия Анатольевна, их квартирантка. Аксинья вслушивалась в каждый ее вдох и выдох, и силы, заснувшие в ней, оживали, трепетали в каждой кровинке ее, во

всем ее теле. «Нет, ты еще не пропащая, не изошла еще вся, Аксинья Сергеевна,— истово говорила она сама себе.— Рано себя хоронить-то. Ведь выдюжают, встают на ноги и такие... Вон хоть соседка по палате, Мария Степановна. Уехала на курорт... И дети, гляди, стали пуганые. Смотрит Оля на отца и на квартирантку, ровно зверек, исподлобья. А нехорошо. Ну, кем она вырастет с ненавистью? И учиться стала похуже... А Кланька-то вчера штопала рубаху Василию. Наготовишься ему на такие плечищи!».

Наутро Василий проснулся от легкого скрипа, идущего от постели Аксиньи. Заглянул за печь: Аксинья поднимала и опускала голову на подушку. Отдохнув, снова поднимала и опускала голову на подушку.

Потом придумала себе упражнения для пальцев. Месяца за два научилась двигать и пальцами. Потребовала рубашки Василия, стала их штопать сама.

Когда колхозный главбух сам принес ей первую пенсию, она подозвала Василия, наказала, кому что купить, не забыла и Клавдию. В доме все опять привыкали к подчинению Аксинье. Первыми прежнюю силу ее почувляли дети: Ваня бежал к ней с обидой на соседского здоровилу Николку, который отнял у него на горке ледянку да еще и натер снегом щеки. Олечка приходила из школы и отчитывалась, что получила, что задали. Аксинья напрягала свою когда-то сильную память, вспоминая, как решались задачи по алгебре, которые в школе ей давались легко, но с которыми дочери теперь приходилось сражаться. Василий и тот иногда являлся к ней на совет и, глядя не на нее, а в угол куда-то, на стенку, спрашивал ее мыслей насчет того, что купить на базаре: одного или двух поросят, заводить на лето кур или, может, гусей?

Все постепенно возвращалось к Аксинье: и речь, и память, и прежняя ясность ума. Все могла она рассудить толково и основательно. И только немым по-прежнему было тело, ее ссохшиеся недвижные ноги. Правда, благодаря упражнениям, Аксинья теперь отрывала грудь от подушки, могла понемногу держать на весу тело.

Она попросила Олечку положить на столик зеркальце, извлечь из сундука расписной ларец, подаренный еще Берендеичем в день ее свадьбы, где лежали всякие бусы-мониста. Надев одно из них, то, что нравилось когда-то

Василию, она лежала в новой блузке, молодая и праздничная, ожидая мужа с работы.

Началась весна. В оконце уже видны были черные пятна подтаин. Унавоженная дорога горбатилась и днем веселела ручьями, а ночами взвизгивала под кованым полозом «kozyрей». «Егор Тимофеевич куда-то мечется по бездорожью. К севу дело, — вздыхала Аксинья и думала о детях, о жизни. — Жить надо, а как же? Ведь это же если каждый на себя в трудностях руку наложит, что с жизнью-то станется? Изучали, помнится, в школе Корчагина. Павка, конечно, герой. Как портрет, как икона — каждому человеку со школы. Только жизнь мудреватее всяких икон: у одного так случалось в ней, у другого иное. Но у каждого должно быть одно так одно: это сила твоя, вера, дух твой неукротимый. Иначе и портрет не в портрет человеку, а икона — картонка... Жизнь приходит из веков и уходит в века, и мы должны оставлять ее детям лучшей, чем было. Вон хотя б возле речки все пустился в кочкарнике клин, а Егор Тимофеевич включил его в дело. Прошлым годом вспахали...»

В день, когда во двор с поля хлынули полые воды, ушел из дому с квартиранткой Василий. У порога смыло ручьем их следы. Аксинья выдержала все спокойно, не дала себе ни закатиться, ни закаменеть. Приподнялась над подушкой и наблюдала, как складывал в фанерный чемоданишко свои вещи Василий. Напомнила даже про новые брюки, лежащие в сенечном сундуке. Под конец сказала, чтоб захватил ларец, подаренный в день их свадьбы еще Берендеичем, да не забыл бы ключ от ларца.

— На что мне теперь, — глухо выговорила она, — возьми своей Кланьке-то.

Василий упал перед ней на колени. Глаза его помутнели, губы прыгали, он силился что-то сказать.

— Не надо, — откинулась она на подушку.

В окно било яркое солнце. Оно теперь вставало за этой раkitой, грело выболевшие Аксиньины щеки, золотилось в раскиданных волосах.

По двору, по стеклянистым лужам ходил патриархом петух, горланили на бузине слетевшиеся воробьи. А на взгорье, по черной горбатой дороге уходил в соседнее Сдобье Василий.

Когда Олечка прибежала из школы и по привычке

крикнула еще с порога: «Мама! Сегодня на экскурсию ходили на твою ферму», — ей ничего не ответили. Акси́нья лежала лицом к оконцу, и солнце стояло во влажных глазах. Сжавшись вся, Акси́нья слушала, как где-то над головой возникает движение. Она чувствовала, что оно все круче, все властнее входит в нее, отчего крепнут пальцы и бегут по спине мурашки. А движение нарастало, озвончалось, грузнело — по железной крыше наконец-то сползал слежавшийся снег.

— Ступай, дочка, в правление, — твердо выговорила Акси́нья. — Скажи, что Акси́нья, мол, просит работы. Сюда, домой. Ну хотя бы счетоводкой. Скажи председателю, Егору Тимофеевичу, что, мол, помните, у Акси́ньи по математике были только пятерки.

## На Сонькином кордоне

Не может быть равнодушия в лесных делах:  
народу нашему жить вечно на этой священной  
земле.

*Л. Леонов «Русский лес»*

Если выйти из Димитринска, городка небольшого и давнего, да войти в сосновый розовый бор, побрести ягодной и грибной опушкой на север, попадешь в край, чудесный своими урочищами и лесными озерами, охотничьими и рыболовными угодьями. Лес всегда волнует русского человека своей очищающей прелестью, своей задумчивой грустью, мудрой статью своей. По дороге в Столбище за Славинским кордоном встретишь старую пасеку, от которой остались лишь просека да подгнившие колышки, да название это — «пасека». А за «пасекой» — Сонькин кордон. Вправо — Сонькино озеро, дом охотника. Влево — заросшая пойма речушки Поруссы, уходящая невесть куда, а впереди за бесцветным бугром и Столбище — сельцо с белеющим на дальнем холме свежим строением средней школы.

Печет на открытом июньском солнце, не знает пощады. Юлит подлеском узкая тропка. Юлит да петляет. Вдруг раз — из-за поворота девчонка. В косичках, в бордовой косынке.

— И откуда такая?

— Я Машенька, — улыбнулась девчонка. — Лесникова дочка. С работы мы, посадки сосновые тяпали.

— А где остальные?

— Да вон они — Наташки. Все трое. Звонченко у нас главный лесничий.

— Где это у вас?

— А у нас в школе, в школьном лесничестве. Мы отцу моему помогаем... Да вы погодите, сейчас я. — Она метнулась под дубнячок, зашелестела прошлогодней

листой. — Сюда, ко мне! — замахала вскоре руками. — Пировать будем.

И впрямь под листвою, на сырой земле — что твой холодильник — оказалась в газете всякая снедь: краюха хлеба, пупрастые огурцы, зеленые стрелы лука и яйца. С утраца по холодку еще, чтобы дать свободу рукам, девчонки обед свой в дубняке и оставляют. Зато на обратном пути, после трудов праведных, откапывают тайничок, устраивают пиршество...

Подошли все три Наташки. Все трое — друг перед дружкой, что ли, — в легких спортивных трико, в тапочках на босу ногу, и глаза у всех троих вроде схожи — смешливые такне. Только волосы разные: у одной — короткие, воронова крыла, у другой — каштановые, кольцами по самые плечи, а у Звонченко — русая коса, вон куда по спине. У Звонченко же и руководящий жезл — черенковая лопата с ореховым древком. Да и нравом «главный лесничий» спокойнее, слушает в полуулыбке, как тараторят подружки. А они — загорелые, бойкие — так и сыпят словами. Обсуждают, сколько протяпали нынче сосновой подсадки, что завтра надо бы на «кабанью» картошку да дозор послать на дорогу в Майский поселок — опять кто-то оставил там костер незагашенным... Дел хватает, а тут у Звонченко скоро экзамены, не шутка — на аттестат зрелости. Сидят и пируют девчонки, запивают еду ключевой водой и в мыслях своих продолжают — я знаю — идти лесным ходом к своей деревушке, вспоминают, под каким кустом живет старый еж, под каким всегда в стойке перед ними знакомый ужонок. А придя в деревню, купаются в лесном озере, загорают на Косвасе — островке, которому сами придумали имя.

— За хлеб-соль спасибо, — говорю я, — где завтра будете?

— На кордоне скажут, — отвечает Наташа Звонченко. — Скажет Тетерев, вот ее батька...

Знает Наташа: забот у Тетерева хватает, а своих рабочих на кордоне всего ничего. Правда, в иной сезон колхоз помогает людьми, да ведь и в колхозе есть куда руки приложить. Куда б леснику без ребят. То на Сонькином кордоне сажали вручную сосну — по пнистым проплешинам не развернуться машине. То весной заготовливали молодняк для посадки, собирали аптеке почки березы...

И сегодня пораньше, с росой, как вчера обещали. И прямо к Тетереву:

— Вот и мы помогать явились. С кем, дядь Саш, и куда?

— Вон с Исаевной. Все вам расскажет,— кивает лесник на Запалову. А уж лучше нее, старой лесной звеньевой, никто не знает нужд тетеревского обхода; не одно дерево ею посажено, пеленато да выхожено, не одна высадка потом полита...

Закраснелось лето — подступил сенокос-батюшка.

Вышли хороводом в луга, порассыпались в пойме Поруссы. Замер весь травостой в ожидании первого взмаха. Благодатно. Задремала на теплом солнце медянка. Слушает, как дрожит и трепещет на песчаном откосе осина, шумят медногрудые сосны. Опеваает в них зорю неумолчный юрок. Услыхала медянка шаги — ввысь над стежкой кольцом, скользь в кусты — лишь остался на сыпучем песке тонкий след. А пониже, в пойме, бушует зелень, лишь местами июнь пробросил в нее желтизну спелых трав; уходит пойма в позалесную синь — в крапиву, ольшаники, лозняки. А на другой стороне тоже лес и тоже крупняк, и пара, наверно, рыбацких домиков.

Встала Наташа — главный лесничий с косой за дедком из Столбищ, за Денисом Прокопычем Стряпухиным. Кладет следом ряд в ряд. «Жвик-жвирик», — напевает коса. «Жвик-жвирик», — отвечают, склоняя головы, будыля зверобоя и конского щавеля, просто кислый щавель, шалфей и ромашка, пастушья сумка — вся эта пестрота луговой медоносной травы.

— Ты, девк, пятку прижимай, стриги ниже, — замедляет дедок свой ход. — Да вольнее, вольнее води...

Где-то рядом, в Поруссе, плещет о берег вода. Где-то выше блаженствуют в ней бобры-мудрецы, срезав и перекрестив в подпор ей осины. Ниже Порусса расходится на две протоки и сходится аж у поселка Дружно. Там воды уже много, можно на лодке. А тут везде сушь. В горле тоже. Но пить ни-ни-ни, не то ослабеешь, отстанешь. А ребята ведь смотрят. А мочи уж нет. И Стряпухин все жмет, жмет. Мелькает перед Наташей порепанная, черная дедова пятка. Уперлась в землю — шагнула. И так без конца.

— Шабаш, — поднимает наконец косу Стряпухин и валится в тенок под крушину.

После перекура опять ходко ходит коса. Теперь уже легче. И солнце за тучкой. Хорошо, когда вот такими шажками меришь землю, когда косой, как ладонью, гладишь ершистую зелень. Хорошо, когда вот так узнаешь каждую складку, каждую выбоину, вымоину на родимой земле. Слушаешь чутким, напрягшимся телом все ее звуки и запахи.

К вечеру девчонки сметали сено в стога, а после палили костер: дед варил полевой суп-кондер из глазастого пшена, крошил в варево картошку и ржавое сало — так и вкусней, и лохматее. Наливал, приговаривал:

— Ешь, ешь, пока рот свеж, завянет — ни на что не глянет.

А они шутили в ответ:

— На косьбу ты мастак, а по кухне не то. Не оправдываешь, Стряпухин, фамилии.

А сами добавляли по второй, по третьей тарелке стряпухинского кондеру, и было легко всем и радостно — одному оттого, что коса еще слушается его уже изработавшихся, сохнувших рук, другим — оттого, что они славно потрудились сегодня, что завтра Тетерев, увидев стога, удивится, похвалит их хотя бы и про себя. И еще оттого, что рядом шумели сосны. Густело, наливалось звездами небо, костер начинал красить в медное лица.

— Так я про что, — затевает старик, раздвигая прут уголья, подыскивая картошке местечко в самом жару. — Стряпухин-то я по другой линии... Дед, сказывают, у меня был грамотеем. Какое дело, залютует помещик ли — крестьяне к деду: мол, состряпай бумагу. Свершит он бумагу на помещика и в центр ее. За народ воительный.

— Да уж герой! — говорит язвительно Наташа — главный лесничий. — Перед царем слезы лить.

— А по-моему, — зажигается Машенька, — по-моему, герой — когда с Красным знаменем в сражения.

— Это факт, — важно замечает Стряпухин и сует в костер за картошкой свои бесчувственные, заскорузлые пальцы. — Только герои не на одних баррикадах... Кто живет с пользой для людей, тот, скажем, и герой. И кто варево варит, и кто разное бумажное стряпает. А хотите одну, значит, историю? Тоже, скажу, про героичество, про упорство людское. Годок мой рассказывал. Про то, откуда есть и пошла по земле яблоня сортом антоновка. Так вот годка того звали Антоном. И отца его, и деда, и пра-

деда, и всех далеко-далеко... Они-то, говорят, и ведут оттуда, издалека, сорт ни с чем не сравнительных, самых лучших в мире на дух и на вкус этих яблок. Так, гляди, и пристало к ним в людях имя такое — антоновка...

Дотлеваст закат. Тишина. Слышно лишь комариное пение над пасущейся в пойме лошадью, да в самой Поруссе, будто бабы вальками по белью, изредка ухают боками о воду гуляющие сазаны. Сосны сомкнулись над костром, и качаются наши тени на розовых листьях, стволах. Качается длинный стряпухинский нос с горбинкой, как у чайника, только краем повернутый вниз. И кажется мне, что и сазаны эти, и костер, и ребята, и сам старый Прокопыч — все это едино, величественно, нескончаемо и загадочно. Как жизнь. Как природа.

— Так вот, — катает старик в ладонях картофелину только что из огня, — забрали жандармы в девятьсот пятом сына Антона да загнали в Сибирь. Долго ль, коротко ль — дошла от него домой весточка: нету, дескать, в Сибири ни хренá — ни груши, ни яблони. Всполошился дед: как ет так, нету? Быть того не должно. Да так, говорят, нету, не растет...

Притихли Наташки, затаилась и лесникова дочь Машенька. Лежит на локтях, подперев ладонями щеки. И я смотрю в полымя и представляю сибирского узника таким же косматым, как наши тени на соснах, как вот этот рыжий огонь, в котором столько глубинной силы.

— До самой смерти своей мудрил дед с семенами да саженцами: все сорт особый для Сибири искал, все наши, тутошные, приспособлявал. Да так и не успел. — Одну за другой выкатывает картошины Стряпухин из жара. — Не успел дед. А перед смертью наказал сыну: «Ищи теперь ты, Антон!»

Он и ищет. Не одну сотню саженцев произвел на свет от дедова корня. Да все не то... А в сорок первом, когда немец нагрязнул, пустил по ветру весь питомник, один прививок оставил. Пошел отступать Антон за Қолпну — корову прививом вместо лозины погнал: сохранял от ворога тайну, доведись в окруженье попасться... И видал ноне яблоньку я возле крыльца у него. Она — с той лозины пошла...

— Тр-р-р, — радостно подала голос в Поруссе лягушка. Лошадь подняла голову и задумалась.

— Брр-ре-ке-ке, куа-кс, куа-кс,— запричитала, заголосила по-разному довольная собою зеленая братия.

— К вёдру, — заметил Прокопыч, расстилая перед собой тряпицу с крупною серою солью.— Сейчас ихний председатель вступит.

И верно: глухо, поддонно, по-кларнетовому забухал лягушиный «председатель». Весь пруд замолчал, прислушался — подладился, подстроился и... повел вразнобой с новой силой.

— ...Уже второй год рожает,— продолжает старик свою прежнюю мысль.— И какие плоды! Антону, сыну своему, бережет Антоныч. Приехать в отпуск должен из этого... из Заполярья. Сын агрономом там, по теплицам. Пишет оттудова: так, дескать, и так, земля вечно мерзлая, не растет тут ни хрена покамест — ни груши, ни яблони... Вот дед и мудрует, саженец все приспособливает. Эх-хе-хе...

Голос Прокопыча глохнет то ли от усталости, то ли от сырости, которую натягивает к полночи с низины.

— А ну, придвигайтесь, — командует Прокопыч и кивает на картошку: — Побалуемся.

Мы долго еще не можем остыть от рассказа старого косаря. Сидим, не шевелимся.

— Антоныч, конечно, толковый,— наконец поднимается Наташа — главный лесничий.— Вот я школу кончаю...

— Ну, дак здесь и оставайся,— поворачивается к ней Прокопыч.— Не улетывай в город. Благородь, значит, землю Антонов. Может, в этом оно и геройство. Не война, гляди, под пулеметы не надо. Нынче просто работать надо...

— Как сказать,— возразила неожиданно Машенька, дотоле напряженно следившая за разговором.

— Ну, ты у нас известный герой, — провел ладонью по ее торчащим косичкам Прокопыч.— Только, думаю, одна бы и у костра здесь не усидела...

— Ты что, Стряпухин? Серьезно? Да ты что! — вскочила Машенька и огляделась: подружки молчали. Голосок ее звенел, глаза округлились, расширились, отсвет костровый перебежал по лицу.— Да я хоть куда... хоть сейчас... на Червонье...

Машенька сглотнула слова, всхлипнула от обиды и, схватив куртку, метнулась во тьму.

— Вот скаженная,— улыбнулся вслед ей Прокопич и пошел укладываться на ночлег под ракиту.

На зорьке мы с Наташей Звонченко пошли на Червонье. Дорогу в росной траве указывал тореный след. В ложбинах густились туманы, да так, что начинало капать с деревьев, крупно шлепать вокруг. Напалась лесная дорога с разбитой колесей да в заиленных травах.

— Дождичка б,— разбила молчание Нина. — Вот бы траву и умыло.

— А что, давно не был?

— Да нет, был. Но не ливневый. Правда, сено пошло... Да вон Машенька наша. Во-он на берегу у крушины. Остановились мы — засмотрелись, заслушались.

Червонье — озеро заповедное. Запустили недавно сюда карпа в два пальца. Шепчут черные крушины белым березам легенды о том, что стоял тут в лесу когда-то барский домина и что жил в нем дворянин, пожелавший уйти от мирской суеты. Поселился он на этом озере, потому что нет на свете красивее места, нет нагульнее сазана. Слушают зорями эти рыбацкие сказки черно-зеленые воды, подернутые кое-где ряской, затянутые в головище озера остролистой кугой, и нет в той воде диковатости, настороженности, а даже в черни ее видится что-то прозрачное, светлое, может, от березок, дугой склонившихся у самого берега к самому отраженному полукольцу.

— Замерзла? — подходим мы к Машеньке.

— Да нет,— пожалала лесникова дочка плечами.— Я браконьеров спугнула. Стою вон за той сибириной, а они с бреднем...

— А что это — «сибирина»?

— Да роза же. У нас сибирина да сибирина... Колючая, как морозы в Сибири.

— А ты в Сибири бывала?

— Побываем,— односложно сказала за нее Наташа — главный лесничий.— Руки везде нужны. Теперь туда все притяжение.

Сидели и все говорили. Слушал я ребячьи бывальщины и представлял, как прошлым летом помогали ребята лесному народу: косулям и еногам, и лосям, и кабанам.

Уходил я с кордона под вечер. Солнце садилось за лесом. Все небо было темно, глуховато, и только в одном

месте пламенел длинный острый разрыв, хвост у него был в сизоватом налете. Проголосовав на дороге, я сел на попутную, и тогда огневая стрела на небе тоже задвигалась, полетела, помчалась над лесом в обратную сторону, словно ракета со своим огнедышащим шлейфом. «Пусть многие,— думал я о ребятах,— пойдут дальше иными, не лесными дорогами и станут, возможно, геологами, возможно, поэтами, но до седых своих дней, до конца своей жизни сохранят в себе то, что было засвечено в юности, сохранят в себе запахи русского леса».

Сушь-то какая. В колодцах ведра уже скребутся о дно, речка Хладоструйка и та сошла в теле, показала глазу замшелые камни, прозванные в Ивани «базальтами». Еще так вот подержится, «базальты» и вовсе вымчат на берег, тогда можно по ним, не замочив ноги, перебраться на тот берег, к магазину. А у магазина при закате, известное дело, не заскучаешь. Тот к продавщице Лидии вроде бы за стеклянной «долгоиграющей» конфетой к чаю, этот прямо с трактора мыла-солицы прикупить, просто послушать, что скажут другие. Так и застрянут на час-другой, сидят себе на вольном духу, обсуждают текущий момент.

— Вот Слышун как раз колыхается, — приглядится за речку крючконосый Фрол Парамошкин — мужик острый, себе на уме, непрременный член лавочной комиссии при сельпо.— Вот он всем нам и изъяснит с точки зрения мастера по колодцам... Эй, Иван Иваныч! Тут вопрос у нас, обсуждение: что содеялось с нашей природой, с рекой, например, Хладоструйкой? Жилу, что ли, где оборвало?

— Некогда мне тут с вами керосниться, — ответит подошедший, но все же присядет, пристроит к «базальту» свою деревянную ногу, задумается.

Росту Иван Иваныч Корнеев не гвардейского, но и не малого. Молодые глаза, срезая годы, не пускают за пятьдесят. Рыжеватая борода, начинаясь прямо от глаз, остепеняет вид, делает его серьезнее и тяжелее.

— Так-то оно, мужики, так, — наконец скажет Иван Иваныч.— Шахты, рассуждаю, в Серодворске копают, воду тем и осаживают. А потом ее оттуда, споднизу, на-

сосами, в речку, и в ненадобность. Там аукнется, тут, бра-тишки, откликнется... А то вот в Ташкенте, там, пони-маешь, наоборот: там воду в гору тянут, чтоб сверху на землю бросалась. Просо после того вымахивает толщи-ною в оглоблю. Во культура!

— Ты даешь, ха-ха-ха, — зарегочут, схватятся за жи-вот мужики.

— Да ну вас,—намахнется Иван Иванович на них так, без всякого сердца, и пойдет, заскрипит дальше сво-ею дорогой. А чего на них обижаться. Ну гробануло ему, матросу первой статьи, колено под Севастополем. Ну от-собачил ногу хирург по самое основание. Так и сосед Сергей Никодимыч, да и бригадир Артем Кириллыч, да и на почте Антон Коровушкин тоже все в дырках, в оскол-ках ребята. У одного пуля где-то под сердцем, у друго-го — в костях. А как крутят, как крутят к срыву погоды солдатские раны.

Вот сухмень окаянная. Соку не стало в земле. При-гнал новый председатель машину такую: скважины про-буривать для фермы. Весь Пролетный Верх исчесали, истыкали кротовыми норьями, чуть ли не на коленях исползали — были на Пролетном колодцы, да сплыли, не будет, нету сока в земле... Много ль теперь ему дела — знай, шевелись себе по двору, сараюшку Дарья как раз наказала приладить; только нет, тянет думками к ферме. Да и как не тянуть: сколько жизни ей отдано, сколько всего. Как приехал из госпиталя — куда бы метнуться? А везде пусто-голо. Бабы одни. Хоть убейся, а иди, кол-ченогий, справляйся, морокуй по технической и по плот-ницкой. На пузе по бревнам елозил, в воду брякался, от-качают бабы, и снова на мост. Жить селом начинали со связи, с моста, а то как бы и жить. Нет, не та у него теперь силушка, что тогда, до войны, когда на своем ходу — в два прицопа-притопа, полнозубый и хохотли-вый, завербовался он в город Ташкент, но не все же... Когда подпришли с фронтов мужики, приставили его кор-мовозом к ферме. Нагляделся, спаси да помилуй. Коро-вы, бывало, уже с ползимы на веревках. Оно и верно, кормочку было внатруску, да если б его все не мимо, не мимо, а в общее дело. Не вытерпел, согласился заведую-щим фермой. Кой-кому его новая должность пошла как кость в горло. Он и в Тюлькино поле, к гречишным скир-дам, не поленится сбегать, и в Сумцах не осквернится в

клевера рукой пхнуть, не загорелась ли. Намыкается, пока где-нибудь по пути не завалится: лога вроде бы круче стали треклятые да километры длиннее.

Бежит к дойке на ферму, а Дарья Крутилина — востра баба:

— Вон скурлык, скурлык, липовая нога снова по нашему адресату... Ты бы, Корнеев, дома за лавку, что ли, на момент зацепился — не даст клока унести.

А он только взглянет на нее. Дарья после говорила, как перепел проташится с перебитым крылом, сердце у нее так и отвалится. Да и правда, какой же там дом, когда нету никакого дома у человека: всех у него под корень каратели в Стылых оврагах... Пожалела Дарья по-вдови и себя и его. Так и жили какой уже год, рядом да ладком. Завели сына Володьку. Пробовала сначала наладить самого на кормок: вон, мол, Гришка Ермолкин тоже, гляди, ветеран и ноги в лютых битвах с врагом не потерял, а гляди, как живет, но качнулся он тогда от нее в горячах без своей деревянной упряжки и упал у стола на культю, застонал, так что холодом ее окатило. Да сгори оно все, пусть у них будет, как у людей, много ль надо.

Так и жили, крутились день-деньской оба на ферме, пока на культé у него по рубцам не нарвали свищи и врачи не определили его на бессрочную увольнительную. Подлечившись, чтоб не сидеть без трудов, потому как срамно от людей и к голове чернота прибывает, вспомнил он свое старое дело — колодцы. Как бывало в мальчиках с отцом, стал ходить местами привычными, по поселкам и деревням, хуторам — ладить людям колодцы, давать людям питье. Больше чистил, какой с деревягой работник?

На низы и не звали. Зачем? Там известно: взял на штык — тут тебе и вода. Его вотчина — селенья высокие, колодцы глубокие, понимать надо — Среднерусская возвышенность. Сами в таких селеньях за колодцы брались кой-когда, но — копай не копай — редко кому ловилась водица. «Слышуна, — старики скажут, — нужно позвать». И пошлют за Иваном Ивановичем. А он, что ж, придет, посидит — покалякает, перекурит с мужичками махорочки, поскрипит на своей липовой ноге до околицы, обглядит да обстукает лога и овраги. Облюбует местечко, приложится ухом — слушает и размышляет, как и что

там внутри Земли дается — хлюпает ай не хлюпает, живо или мертво без движения влаги. Все нутро разверзается ему, словно переслоенный маком пирог, который матушка испекала, бывало, к отцову дню ангела — на Ивана-купалу. Вся земная глыба сообщает ему, куда и какие идут горизонты, какие из них держат твердью своей ту желанную воду и куда та вода истекает уклонами, где тут ближние к уху сломы. Можно дать ведь любую воду — ядовито-соленую, тухлую, горькую, желтую, на зубах хрусткую. А постараться, подойти с уваженьем к народу — такую, что не оторвешься, особо в жару; в зубах звенит и сахаром в мягкотелое нёбо кидается, картошку суглинистую в вареве разлохматит, три хворостинки на голове при мытье раскудрявит. «Копайте здесь», — скажет Слышун и как в воду глянет.

А тут, в своей-то деревне, без него решили. Известное дело, — в своей. Пригнал председатель машину с буром, бур, мол, черта пропорет, просквозит до самой Америки. Да что бур без ума? Так, неодушевленная тварь, только зря камень грызть. Он, Иван Иванович, не гордый, не позвали — сам наведается; председатель — молоденький, мало обстуканный, а земля на Пролетном Верху всегдашняя, землю жалко.

Так в думах, размышлениях продолжает Иван Иваныч свой путь на Пролетный Верх. Место это высокое, знатное, словно магнит: молнии в грозу сюда так и нисходят, журавль перелетный, на что любит поймы, а и тот опустится рядом, на болотистом блюдце, чтобы с высей озирать речную долину, все поля и деревни, перелески до самых сине-серебряных далей.

Под рябиной, в тени, стоит вездеход. Тот самый, с буром. Сапоги торчат из-под прицепа, накрытого брезентом: сапожищи! Да, нарыто, и все в бесполезность. А вот в этой ройке вода быть должна. Ну конечно. А пусто: загадка... Иван Иваныч начинает зорче осматривать местность, спускается ниже, к Журавлиному блюдцу. Затем, неловко сползая с кручи, проглядывает сочащийся берег. Кряхтя, снимает штаны, лезет в колючую воду, и уже в речке отстегивает свою деревяшку, сует и сует ее в одному ему видимое тело ключа, узнавая его направление. Все нынче перемешалось: вода и та иные пути себе ищет. Пойми ее... Он поднимается снова в гору, снова стоит в

размышлении. Отсюда вот лопухи пошли книзу жирной грядкой, пополз к речке шиповник.

— А ну, парень, проснись, на закате спать вредно... Копни вот тут,— толкает сапожищи Иван Иванович. — Копни, говорю.

— Отвали, дядя, — равнодушно отзывается голос из-под прицепа. — Отвали, не нервируй.

— Копни, парень, — присаживается, вытягивая перед собой деревяшку, Иван Иванович. — Копни шворнем своим.

— Я те копну, — вылезает наконец из-под прицепа белобрысый парнишка с перепачканными руками, в гимнастерке со следами погон. — Ходят тут всякие, а тут, может, военная техника, военный объект.

— Дура ты,— обижается Иван Иванович,— а еще недавно, видать, отслуженный. Да у меня самого такой, как ты, сын на подлодке...

Парень перегнал машину пониже. Настроил ее. Уперев железные жерди в грунт, полез в землю вращением штанги. Силился так и этак мотором — замолк.

— Пусто,— подошел он к Ивану Ивановичу и вдруг озлился: — А ну ее к такой теще-маменьке! Уезжаю отсюда.

— Как? — взволновался Иван Иванович. — А ферма?

— Что у меня, других нет колхозов? Торчат тут, уезжаю...

Наутро, пока Дарья на ферме, Иван Иванович, погрузив на тележку шанцевый инструмент, отправляется на Пролетный Верх. На душе тягость какая-то, грузность, словно дурное предчувствие... Это тебе, Корнеев, не ремонтировать — чистить колодцы для освежения вод, заново — дело серьезное. А тут глубина — метров, пожалуй, на двадцать пять... А этот птенец говорит, военный объект. Еще бы, не военный. Потому надо дать воду ферме, и баста. А то и водопровод на деревню отсюда. В «Сельхозтехнику», слышалось, вроде прислали трубы. То-то бы дело, облегчение люду...

Дерн свалился легко, потом пошла осохшая глина. К девяти подъехала буровая машина. Вчерашний парень высунулся из кабины, сказал огорченно:

— Все, дядя, я тебе не помощник. Полетел кривошип.

— Где танк не взял, — махнул лопатой Иван Иванович,— пехота попробует. Плывуны, должно,— забивает...

Паренек вышел из кабины, оглядел корнеевскую за-  
тею, улыбнулся, похмыкал, посидел, поздыхал — принес  
свою шоферскую лопату, молча начал откидывать землю.  
Парнишка оказался ничего, сходный — белорус из-  
под Пинска, а сюда прикатил по причине: женился тут  
на одной из Ребровки. В его краях на сушь не обижают-  
ся, землю роют, наоборот, чтобы воду дальше спрова-  
живать.

Съездили с парнишкой до хаты. Иван Иванович покру-  
тил-покрутил да и швырнул в прицеп дубки, припасен-  
ные на сарайчик под уголь. На Пролетном их располо-  
винил на плахи, расшил деревом стенки — углубились  
еще метра на полтора.

И лихо же работали. Дня за два махнули вдвоем  
метров шесть. Иван Иванович уходил в землю все глубже,  
закаты все жиже проникали в темный квадрат.

Корнеев брал грунт где лопатой, где ломом, грузил в  
поросячью лоханку, приспособленную под бадью, и, дер-  
нув за веревку, ждал, когда вверху Виктор начнет качать  
ворот, и тогда все там заскрипит, заходит ходуном, и  
приятное томление обольет Ивану Ивановичу на минуту  
усталое тело, и, отдыхая, он резче учует крепкий глини-  
стый дух, а плечи ощутят сырую земную прохладу.  
Сколько раз порывался Виктор сменить его, да какое:  
Иван Иванович не доверял... «А вдруг жила где рядом ай  
сбоку, а ты не услышишь,— отговаривал он каждый  
раз. — Прорвет, и затонешь еще. Вода — дело тонкое, ее  
надо слышать да слышать...»

А воды все не было.

Слухи шли по Ивани. «Слышун землю хочет прон-  
зить, — разъяснял всем на «базальтах» в перерывах меж-  
ду ревизиями Фрол Парамошкин. — Лесу уже на рас-  
шив не хватает, начал сарай свой разламывать». И од-  
нажды в числе прочих любознателей явился к Корнеевой  
яме с двумя чурбаками. Легли в дело и парамошкинские  
лесины, и те, что приносили под мышкой Артем Ки-  
риллыч, и Антон Коровушкин, и другие. Нашлись та-  
кие, что взялись отволакивать в сторону щебенъ да  
глину.

А жилы все не было. «Может, ее по бутылкам в го-  
роде того... — поразлили, — выступал на «базальтах»  
Фрол Парамошкин. — А может, Слышун оглох в бухгал-  
терию земную вникать».

Иван Иванович входил в раж. Сомнения порою смущали его, но он знал одно: надо идти и идти, с натиском, без ослабления, и заглушал ослабление сильной работой. Должна быть, куда она денется, по всем знакам должна. Глина, камень, опять глина. Пошел сухой, зыбучий песок. С полчаса Иван Иванович сидел в нерешительности. А сверху уже наклонялись, кричали, дергали за веревку.

Он ставил теперь расшивку из целиковых бревен, двигался дальше, и голоса наверху были ему не так уже явственны, в квадрат над головой едва вмещались первые звезды.

За зыбуном пошла снова глина. Сырая, резаться стала, как масло. За тугим глиняным маслом — опять песок. Огрузнел, отволг, на совок ложится блином...

Сегодня Иван Иванович собирался на Пролетный Верх, словно на праздник. Сменил белье, надел новую, расшитую петухами рубашу, которую Дарья еще с вечера привела в твердую хрусткость и ослепительную белизну. Он шел с Дарьюшкой по деревне с гордо поднятой головой, как ходят уважающие себя люди, которым есть за что себя уважать, и каждый встречный оборачивался и, оглядывая Корнеевых с тылу, туго перегонял по памяти всякое, соображал, что и к чему, праздник сегодня какой или так.

Долго стоял Иван Иванович на Пролетном Верху, долго, тягуче окидывал оком хозяйским моткую Хладоструйку — всю от окон истечения до сине-туманных далей, не кончающихся за горизонтом. «С холминкой он нынче какой-то чудной, — толкнулось было в груди у Дарьи, но тут же вытеснилось заботой о предстоящем. Накручивая веревку на ворот, она таскала бадью за бадьей, думая об Иване, ставя его против многих, тихо радуясь им за его жизненную бессеребрность, нужную полезительность всем, общую здравость чувств и рассудка. Песку в бадье между тем становилось все меньше, а вес его тот же.

В яме что-то разом вдруг треснуло, гэхнуло, дрогнула под ногами земля. Шибанувшим из ямины воздухом Дарью отбросило в сторону. Она кинулась к вороту: дно было близко. Бревна торчком городились в песке-зыбуне, еще свиристевшем из обваленных стенок. «Господи, да

что же это», — остро и тонко замлелось в ней, и ноги опустили ее в беспамятстве наземь.

Прошло время. Переполох из Ивани перекинулся дальше. Где-то суетились и что-то решали, а она все сидела у провала, поглотившего человека — ее Ваню, Ивана Иваныча, тускло глядя в песок, не слыша ни людских бессловесных вздохов, ни утешений. Вдруг ей почудился его, Ванин, голос.

— Дарьюшка, — тянуло к ней из обвала.

Песок в одном месте пришел в движение; засвистел по-сусличьи.

— Живой, — вздохнула она.

Зыбун, нажавший на плахи и вышибивший их из стен, так что плахи легли друг другу наперекрест, навалился сверху и наглухо отрезал Ивана Ивановича от всего мира. Сначала он растерялся, как сидел, так и остался сидеть на бадье. Прошло время, пока мысли не собрались в какую-то тугость и ясность. Попробовал тронуть плахи над головой, песок засвистел, заструился за воротник, плахи качнулись — он отдернул руку от них, как от огня.

Сел снова, начал соображать. То обливаясь потом, то холодея, отыскал пальцами твердость между лесинами и, раздвигая края ее, начал проделывать щель. Дышать стало легче. Он смог расширить щель так, что различал лица, жадно вслушивался в то, что творилось там, наверху. Подъехал председателей «козлик», загомонили наперебой голоса:

— В район надо... боковое бурение... боковую проходку...

Слова давали надежду. «Ничего, должны выручить, — умирал он дрожание в пальцах. — Внукам еще буду рассказывать, как и что было».

Приходила Викторова «бестарка». Еще одна, из райцентра. Пробовали бурить и рядом, и в боковую. Да что бур, человека надо вытаскивать! Начали боковую проходку, прокладывая галерею.

От всеобщего колыхания песок начинал опять свистеть Ивану Ивановичу на голову, и тогда он принимался кричать, дергать веревку, слать наверх в котелке ругательные записки.

— Говорю, из метра надо технику, из Москвы, — суетился Фрол Парамошкин. В эти дни он осекся лицом,

пригорбатился, Дарью обходил за версту, словно чуял за собой перед нею вину.— Морозилку из метра такую, стенки ею скреплять, чтоб неплыли.

Ему не возрожали, надеялись: морозилка — дело великое, вон метро какое с ней выперли, не такое видала. Потом все угомонилось — ждали комиссию. Но отец Парамошкина — шаткий на ноги, древний старик — так прямо и брякнул всем, что комиссия та не управится, что Ивану осталось жить дня три. И Иван Иванович притих, успокоился, приглушил струнный звон в теле, чтоб не сводило всего в затверженную крепь, стал приучать себя мыслью, что, быть может, придется — да всяко может — тут и остаться навеки.

Каждый в Ивани теперь норовил проведать его. Шли прямо с поля и с фермы, после поездки на станцию. Он уловил в тоне всех разговоров небывалую прежде сочувственность, вкрадчивость, как разговаривал сам в диспансере с покойным уж дядей Егором, и вконец утвердился мыслью, что дела его плохи. «А то, ради чего принимаю здесь смерть, так и не сдвинулось, — заходило в сердце и разум. — Помрешь вот, а после тебя что останется? Так, одна яма да едущая жалкость, что был, дескать, коптител небес, вроде как человек. Мечтал о хорошем для всех, о коммунизме, о протяжности жизни, ради того на Сапун-гору, на пулеметы ходил. А когда, мол, еще круче крутнуло, тут и все, в сторону. Лихо, брат, помирать? Лихо, и особенно так, в одиночестве. Перед ней, пустоглазой, все одинаковы — и коммунисты, и просто... Врешь, не все! — туже стягивал он желваки. Крика из меня, боевого матроса, кося, не выжмешь. Помирают тоже по-разному. Уходить надо пристойно, не скорбей душой, выставлять здесь все, что нажил. Что с собой возьмешь и куда? Нету там ничего — пустота, все, что было, все тут, с моей Иванью, с людьми. Вместе праздновали и горевали, хаты ладили и мосты, распинались до хруста, нажимали на планы... А теперь, сосед Сергей Никодимыч, секретарь наш партийный, только вычеркнет тебя из своих красных списков, и товарищи на собрании, коль достойно убыл, перед прахом твоим скинут шапки...»

Дарья явилась на Пролетный Верх прямо с утра, в черном платке, до сипа кричала в бучило:

— Ванюшка, милый, из Москвы, из метра, машину

волокут — потерпи... Хочешь в Акинтьево сбегаю, попа позову?

— Нет,— глухо слышалось из-под земли и обрывалось на слове: Нет!..

— Господи, — кидалась Дарья на землю, — да за что же такое мне, господи!

Ему еще надо было пожить. Не мог он умереть просто так, не закончив работы. Знобило. Голова и все тело пылали огнем, а он все копал, углублял котелком песок, перекачивая его из одного в другой угол. Три угла уже обошел, оставался последний. Должна же она быть где-то рядом, должна! За те муки, за долю, которую он принимает. Он натуживался, вспоминая расположение углов по отношению к предметам поверхности. Последний выходил, получалось, в рябину, в ту самую, где стояла тогда в тени Викторова «бестарка».

Он разгребал этот угол, затухая чувствами, пугаясь и его бесполезности, зряшности. Под рукой отсырело, захламодало. Его ударил озноб. Попрыгал для сугрева, сжался весь, втянул голову в плечи, копнул еще раз. И вдруг под ним что-то всхлипнуло, засосало, зачмокало — ногу обожгло ледяной струей: жила, родимая жила!

Когда вверху послышался голос Виктора, он, уже стоя в воде по колено, начал кричать ему, где надо бурить.

— Понял, — шумел в ответ Виктор, — все понял, дядь Вань.

А он все рассказывал, ослабляясь и вновь набирая голос, торопясь и захлебываясь от торопливости, отдавая все, что было известно ему, — и свое, и отцово: по каким признакам ищут водицу, какой звук имеют пустые и полные горизонты...

На Пролетный Верх из Ивани вели теперь хоженные тропинки. Шли по ним сюда и из других деревень, куда докатился слух о человеке, заживо погребенном в колоде, по который живет, не сдается, все ищет какую-то воду.

Бучило теперь молчало. Оно молчало и тогда, когда пьяным к нему притащился небритый, козлобородый Фрол Парамошкин.

— Слышун, ты меня слышишь? — наклонился он вниз и плакался, туго провертывая языком: — Сними с души камень, сними ради бога. Ведь пожалел, зажал тогда я

лесок — гнилушки подсунул, вот оно и... Не мучь меня, Иван Иванович, сними...

А вечером, вызванный по телеграмме, приехал с флота Владимир — Корнеева сын. С ним на Пролетный Верх и пришли ветераны. В бушлатах и гимнастерках, пахнувших нафталином, в орденах и медалях. Вспомнили, что на днях будет День Военно-Морского Флота, что Иван Иванович тоже ведь моряк. Нашлось и в степной Иване немало бывших матросов — тихоокеанских, черноморских, балтийских, нашлись просто солдаты. Налили по полной без различия рангов, и тогда встал сосед корнеевский Сергей Никодимыч, поднял рюмку и крикнул в бучило:

— Пьем за тебя, Иван Корнеев, — российский матрос и настоящий рядовой партии. Потому как не осрамил, понимаешь... не опустил ты флотского флага... И доказал всем своим смыслом, что главное у нас — сила духа и все для людей... И детям, и внукам своим закажу, чтобы вечно чтили тебя, сосед. За жизнь твою долгуя, в людях...

Голос Сергея Никодимыча осел звуком, щека передернулась, он крутнулся в сторону.

— Слышишь нас, батьку? — крикнул, перехлестнувшись в бучило, Владимир.

— Слышу, сынку, слышу-у-у... — показалось им, словно эхо выдохнулось из земли, и песок засвиристел в черную щель.

Выпили за погибших на всех фронтах, какие были, за то, чтобы не было больше фронтов. Плакал Володька — Корнеев сынок, лейтенант военного флота. Кто-то тонко тронул давнишнюю горько-соленую песню:

Раскинулось море широко...

Прибавились голоса погрузнее. И Ивань внизу, перебитая Хладоструйкой, все топившей, но так и не утопившей в себе месяц, звезды и белые фонари на столбах, отзывалась молчанием. Песня о кочегаре утекала за повороты и дальше, дальше — по селам и деревням, до смыкания речки с многоводием Дона, до самого Черного моря.

...Теперь на ферме автопоилки. Нажал на железку — хлебай родниковую, ключевую, студеную. А весной в кол-

хоз доставили водопроводные трубы и саженцы. Всем гужом на Пролетный Верх вышли с лопатами. Хотели прибить дощечку, что парк, мол, имени Ивана Иваныча, да решили: зачем она, и так всем известно. И шумят с того времени на Пролетном Верху ясени и дубки, тянут воду корнями из материка, набираются дерева, чтоб в щедротах своих золотиающих, лиственных принимать всякой осенью пролетающих журавлей.

Сегодня дядька Михей не миновал бригадного дома, где после наряда обычно политиковали на крыльце мужики.

Боком-боком проходит он к завалившейся на земле кабине от дизеля, присаживается и, отмечая свое появление, говорит несмело, как-то вполголоса:

— А солнце-то... к ветру, гляди-ко, а?

Никто не замечает дядьки Михея, никто и не отвечает ему.

— А солнце-то... к ветру, должно,— безнадежно вздыхает дядька Михей и вновь замолкает. Не любитель он лишних слов, все молчит меж людьми, молчит и дома жёнке, даже когда ругает его тетка Наталья. А все за одно:

— Экий детина, а нраву-то птичьего. Другой такой, верстовой да с медалями, кладовщиком ай учетчиком был бы...

А дядька Михей на «портфель» не зарится. Есть работа — ходит зимой по наряду, нету — сидит себе под окном, вырезает из липовых плашек всякие винограды да птахи, ночами просиживает, бьется, чтоб выходили у него, как живые, а после возьмет и раздаст на потеху мальчишкам.

Кличут его на деревне Блаженным, потому как идет, бывало, по улице, поднимет кленовый листок и стоит с ним хоть полчаса, а то и весь час, все вертит, глядит да разглядывает, пока не загремит сзади телега или машина, тогда положит в карман тот самый лист и пойдет, куда вздумается. А летами, вот уже третий сезон, дядька

Михей ездит лафетчиком с Волвенкиным Минькой, косит с Минькой хлеба...

Дядька Михей встает с кабины от дизеля.

— Ты, гляди, завтра пораньше, — шумит ему Минька в спину. — Завтра, бригадир сказал, на Перепелиное поле. Пашаничку будем на свал.

— Да уж само собой, — оборачивается дядька Михей, и вскоре его выцветшая рубашка теряется в густеющих сумерках.

Он идет по просторному лугу, к речке. Веснами вода из Непрядвы затопляет округу и держится почти до троицы, оттого Жирный луг так и дышит под каждым шагом, вычвиркивает стоялой водой. Но нынче лето сухое до лютости: солнце выпило влагу, в проволоку выдубило траву, и дядька Михей унюхивает едкую пыль, поднимаемую ботинками, догадывается, что даже у речки не выпала сегодня роса. Он глядит на тот берег — там Перепелиное поле.

Здесь, у речки, к першистому запаху пыли добавляется прелая горечь ивы, тины и осклизлых голышей, слабо слышится пресноватый запах пшеницы с Перепелиного поля. А может, и не пшеницы? Какой уж и дух у нее, коль еще не дозрела? А завтра на свал. Известно: скорее дойдет в валках... А помнишь, Михейко, там, где теперь это поле, шумел, заходил языком укусистый луг? Помнишь, когда попевала трава, с косами сюда высыпала деревня, и батя брал с собою тебя, малолетку, и шел ты следом с граблями, захлебываясь в восторге, оттого что так ходко, в свободном замахе, ходила отцова коса и за сверкающей пяткой ложилась с подхрустом сизо-голубая трава? Главная трава, луговая трава! Такую траву, говаривал батя, корова жует — глаза жмурит, с мечтой, значит, ест. А кругом по лугу бабьи платки, а из-под ног перепела порх-перепорх, один за другим — молодые, неоперенные. А коли встречалось гнездо, так батя обкашивал, потому как гнездо разорить — значило накликать беду.

Пока все скосят, высушат, сгребут да сметают в стога — глядь, а перепелята и окрепли. Лишь в память о них — голый луг в шапках-рябях, шелестят те ряби переспелой травой аж до снега...

Урожайный был луг. Да и поле на нем не хуже. Года росла кукуруза, а сегодня пшеничка. Где заморыш, а на

Перепелином — стена, на круг центнеров этак под двадцать.

«Ну да утро вечера мудренее,— зевает дядька Михей.— Завтра увидим поближе». И идет, успокоенный, к своей хате под соломенной крышей, приткнувшейся за оврагом у студеных ключей.

А на рассвете что-то словно толкнуло в сердце дядьку Михея, он приподнялся и снова услышал в себе глуховатую боль, как тогда, после госпиталя, в сорок четвертом.

— Фу, леший,— мотнул он пудовой ото сна головой.

— Чего тебе? — встрепенулась тетка Наталья.

— Да так, что-то тяжко... Ты спи.

— Повременил бы, Михеюшко, в поле-то. Постерегся б с сердечком. Гляди, какой ты... пергаментный.

— У нас, Натальюшка, у Гриневых, все гонкие. Пойду я. На людях полегше, и от работы, само собой, пупок не развяжется.

Он вышел во двор.

Гриневка еще спала. Петухи и те не орали. Не шелестела листва. Где-то, наверно на тракторном стане, били о железо железом, и одиночные звоны текли по деревне, висели над гулким шифером, тонули в соломенных крышах.

Постепенно на полевой стан сходилась народ. Волвенкин охаживал дизель, гладил ладонью свежие вмятины — видно, ночью опять ездил к Дуньке в соседнюю Выпренку.

— А ну, давай сюда краску,— хмуро бросил он дядьке Михею.

Согнувшись, дядька Михей потащился в кладовку к Ермилычу. Вернулся с банкой.

— Чего принес-то?! — озлился вдруг Минька.— Не зеленка, гляди, а... а...

— Бери, какую дают,— вышел из кладовки Ермилыч, степенный бородатый старик.— Распоясался! Андрианыч тебе, сопляку, аж два раза батька, а все утро матерщины, гляжу, не прохлебывает.

Обида застлала глаза дядьке Михею. Присел он на камень, вытер пот со лба рукавом. «Вот стервец, этот Минька, Дашки Криковой сын, вот стервец! Ну, не сладил со своей кралей выпренской, так зачем же бока ломать, дизелю и его, Андрианыча, так вот?»

Наконец выехали. Вот и Перепелиное поле.

«Эх, поле, поле, хлебушко ты наш пашаничный. Поднялся бы с погоста батька да глянул, как идет сюда Михай Андрианов, не с сохой да косой — с железной техникой. Ишь жеребчина, Минькин-то дизель, черта своротит».

Прет и прет Минькин трактор, скачет за ним стрекотливая жатка, а вбок так и валит яровое со слабою просинью. Ничего, полежит на припеке, прожарится, тогда и запахнет хлебом.

«Ловко это выходит у Миньки, — мелькает у дядьки Михея, — здоров, идол, работать. Не валки ложит, а струны... Эх, кабы тебе такую бумагу-диплом, как Миньке! Кабы скинуть с тебя, Михай Андрияныч, годков тридцать пять...»

Солнце, едва показавшись, укуталось в сизое, светит, словно сквозь молоко. Дрожит в мареве кромка леса. Качает дядьку Михея на шатком лафете; от жары в глазах синие, желтые, зеленые кровавые кольца и щекотно в носу. Тянет в тяжкую дрему. Дядька Михай вскидывает голову и замечает, как в гущу, в нетронутый край, увернувшись от стальных челюстей, шмыгнул рябоватый комок. И еще комок. Потом третий. Зубья сбросили вбок перевитый пучок травы. А под ним — углубление. Никак, гнездо перепелкино? Ну, конечно, ее — перепелкино!

— Стой! — задержал сигнальный провод дядька Михай. — Стой, говорю!

— Ты что? — высунулся из кабины распаренный Минька.

— Гляди, чего делаем. Гнезда давим.

— Тьфу ты! — плюнул с досады Минька. — Нынче, кость на кость, итоги за пятидневку. Премию и флажок соответственно. А ты мозги тут коптишь. А ну, живее на жатку!

И снова прет Минькин дизель, прыгает на шатком лафете дядька Михай.

А на другом конце, через свежий овраг, надвое разрезавший Перепелиное поле, ходит агафоновский трактор, тоже с лафетом, тоже валит пшеницу. Минька весь извертелся: то и дело взглядывает на Агафонова, верно, прикидывает свои и его гектары. Круг за кругом, все ближе к середке. Вот уж всего гребешок не дострижен — камнем перешвырнуть. Взмыкались куцые перепела, так

и снуют по пшенице. Взлетел один, прошумел крыльями, плюхнулся в жнивье, прижался к земле. Прошли жаткой еще раз. И тут в кромке дядька Михей увидел светло-бурые маковки. Никак перепелята? Вытянулись, водят головками, осматриваются. А жатка еще одну ходку. И нет уже в помине татарника, перепелята ушли под колосья, а сзади глазает пустое поле. А дизель все ближе...

— Стой! — дергает что есть духу сигнальный провод дядька Михей. А дизель все прет. Сейчас хрясь, и конец. Дядька Михей скатывается с лафета и, припадая на замлевшую ногу, бросается вперед, настигает трактор. Только б успеть! Вон уж рябые маковки.

Обежав агрегат, дядька Михей кулем валится в хлеб. В какой-то миг успевает почуять и колкость жнивья, и сухость земли, и вперившиеся в затылок черные бусинки глаз.

Лязгнув, гусеница замирает перед самой коленкой. Из кабины высовывается Минька, побелевший от злости.

— Ах ты, стервь хромоногая!

Поднимается дядька Михей, страшный — выхватывает рукоятку, идет на трактор, надвигается, словно на танк:

— Уходи, гад, убью!

— Да ты что, ты что? — пугается Минька. — Ай сдурел? — И щурит в притворной улыбке свои монгольские глаза. — Да мы тихо-мирно, да мы разве нелюди. — И помогает дядьке Михею собирать в картуз застывших от страха, слабо встряхивающихся птенцов.

Потом дядька Михей несет их километра за два, аж до леска, чудом выжившего в войну, выпускает под старой березой, иссеченной осколками.

— Кш, кш, — словно кур, отгоняет их дядька Михей. — Тут-то вам поспокойнее, тут вольготнее. Живите покудова.

Он вытирает изнанкою картуза отсыревший лоб, с незагорелой молочной полоской у самых волос, и стоит так с минуту.

Вдруг что-то острее, чем шилом, вновь пронзает дядькину грудь. Он лезет под рубаху: там под ладонью, словно испуганный перепел, мечется дядькино сердце. Он в бессилии опускается под березу. Сидит и гладит потрескавшуюся бересту, тоскливо думает, что зря не послушался женки, надо было хоть денек отлежаться. И жаль

себя становится дядьке Михею за все: за то, что второй уже год не едет домой на побывку младший сын-офицер, за то, что от старшего третью неделю ни слуху ни духу; улетели перепелята, забыли их с Натальюшкой. Оно, конечно, у каждого своих забот выше горла: жизнь-то какая нынче пошла колготная...

Дядька Михей достает из пистона пузырек с валидолом, вытряхивает на ладонь оттуда таблетку и, запрокинувшись, швыряет ее под язык.

Боль по капельке затихает, но стесненность в груди остается.

Выйдя из лесу, дядька Михей видит поодаль Перепелиное поле, а в поле замерший Минькин трактор. Еще дальше за свежим оврагом — агафоновский.

Сворачивает к нему. «Ишь, тоже с лафетом, тоже косит на свал».

Он поспешает. Ноги так и несут, а сердце — что треснутый колокол: бухает с перебоями. Когда вовсе невмочь, дядька Михей останавливается, пережидает: воздух горяч, хватанул бы, да что там. А за Каменкой уже синие молнии, так и рвут блеклое небо.

Когда дядька Михей подбежал к агафоновскому агрегату, все уже было кончено: в последних валках солома-колосья перемешались с кровью и перьями. Дядька Михей бессильно опустил на землю.

— Что ж ты, Иван Тимофеич? Ай не видел, что ли, перепелов?

— Перепелов-то? — переспросил Иван Тимофеевич, продолжая копаться в моторе. — Ах, чертушка! — сбил он отверткой палец. — У меня так: коси, любя-голуба, покудова косится.

— Перепелов, говорю, зачем порубил?!

— Ну, порубил! — повернулся к нему Агафонов. — Не игратья, любя-голуба, приехал. Работать, как говорится, строить и созидать. — И замахал кому-то рукой.

Дядька Михей обернулся: из кукурузы выкатывались шустрые шарики — весь агафоновский выводок.

— Вон их, Михей Андрианов, — подобрев, сказал Агафонов, — как понимаешь, кормить и поить нужно. Некогда прохлаждаться.

Гуськом подошли агафоновцы — мал мала меньше, все чернявые, в Марью. Притащили обед. Агафонов расстелил свежую тряпицу, степенно нарезал хлеба и сала,

поставил чашку с малосоляными огурцами. Ребятишки зорко следили за батькиными руками.

— А ну, садись, братва, да живей! — скомандовал Агафонов. Все пятеро разом потянулись за салом. — Садись и ты, Андрияныч.

— Да, ну-у. Я чего-то так... устал, Тимофеич.

— Садись, садись. За этой работой не измотаешься.

Дядька Михей и впрямь чувствовал себя усталым. Хотел было изложить Тимофеичу все по порядку, рассказать, как отец выходил с косою на жито обычно попозже, к тем дням перепел успевал опериться, от косы мог уйти. Хотел пожаловаться, что теперь вот нету перепелам никакого спасения, особо когда стали валить на свал незрелое жито, что перепел не агрономовы карты, не приспособился, за то и пропадает, скоро от Перепелиного поля останется только название! Много хотел сказать Агафонову дядька Михей, да, передумав, махнул рукою: Тимофеич, гляди, не маленький, и без того разумеет...

А к вечеру в доме бригады подводили итоги. В комнате столбилось от курева, пахло соляжкой и хлебом.

Приезжий корреспондент крутился вокруг Агафопова, снимал его у окна и у печки, даже ставил на стул, заставлял вертеть головой так и этак. Всегда чинный, спокойный, Агафонов непривычно тарашился, лицо делалось чужим, костенелым; беспокойный корреспондент отдувался, вытирался платком, опять начинал вертеть Агафопова.

— Да ты его кверху ногами, — пересмеивались механизаторы.

— Я попрошу, — встал за столом бригадир Ампилогов, — попрошу тишину. Тихо! — и застучал тяжелым, словно чугунным, ногтем по пустому графину.

— Сперва налей, — брякнул было Минька Волвенкин, но его тут же одернули. Сделалось тихо.

— Товарищи! — резанул рукой Ампилогов табачный воздух. — Лучше всех в пятидневке поработал механизатор Иван Тимофеевич Агафонов... Ему, значит, по решению правления, — агроном, сидящий рядом, закивал головой, — ему, значит, это... премия и флажок. Пущай сам тут расскажет, как он дошел до такой замечательной жизни.

— Валяй, даем согласие, — задвигались механизаторы.

— А что я..., конечно, — поднявшись к деревянной три-

буне, смущенно начал Иван Тимофеевич. — А ничего я, конечно, такого. Вон Минька Волвенкин... У него трактор новый и сам молодой. Он может — а что? — и на орден. Верно, да?

— Крой, крой, — поддержали в первом ряду. — Верно, Минька все может.

— Четыре дня он шел... значит, стало быть, первым. — Иван Тимофеевич обрадовался, напав на нужную жилу. — А нынче, скажу, полдня простоял. А почему? Рази он виноват? Пока, значит, Андрияныч, напарник его, перепелов собирал по полю.

— Как?! — задвигались сзади. — В горячую пору? Перепелов? Ну и блаженный!

Что-то словно хлестнуло вдруг дядьку Михея, стянуло горло тесным жгутом. Дядька Михей встал, одернул рубаху под поясом, прошел по-военному прямо к столу. Вывернул перед Агафоновым картуз: на кумач посыпались перепелиные крылья и перья, перемазанные ржавою кровью.

— Вот она, премия твоя, Иван Тимофеич! — выдохнул из нутра дядька Михей. — Уложил, говоришь, пшаничку? — и заговорил быстро, горячечно: — А как же с хлебушком... с етим, какой пахнет кровью? Да где же, скажите, такой закон, чтобы живую птаху давить, перепелов порешать? Нету у нас такого закона!

— Полегше, Михей Андрияныч, — застучал бригадир по стакану карандашом, — полегше.

— Да что перепела! — не обращая на него внимания, говорил дядька Михей. — Гляжу я на тебя, комплексный бригадир...

— Не разрешаю, не по повестке, — колотил бригадир по пустому стакану.

— Дай человеку сказать, — зашумело собрание. — В первый раз человек...

— Гляжу и в толк не возьму, — продолжал дядька Михей. — Хозяин ты, Ампилогов, али вредитель? На словах за колхоз, а на деле? Свел дубки в Косой леваде — говоришь, на слегу для фермы? А теперича полыми водами высадило на леваде овраги! Приказал сгрузить прямо в поле селитру — говоришь, ближе к свекле? А селитру ту дождями в соседний ставок. Вся вода и протухла...

— Не марай, не марай тут синьфонию, — наконец су-

мел прервать его бригадир. — Можешь поставить вопрос специально... на общем бригадном собрании.

— И поставим! — сказал, как отрезал, дядька Михей. — И на бригадном, и на колхозном поставим.

Не глядя ни на кого, мимо Миньки, мимо множества глаз, мимо стола под кумач протащился он к открытой двери. И, чуя, как падает сердце, как на лбу выбивает испарину, чтоб не упасть, прислонился к раките.

А ветки уж секло сырым теплым воздухом. «Я ж говорил, к ветру, — думал дядька Михей. — Ничего, мы еще поглядим, поставим и на общем собрании. План, он есть план, конечно, — серьезная штука. Но и перепела ведь перепелами».

Упали первые капли, шлепнулись на рыжие сапоги, остались темными пятаками.

По проселку, облитому сентябрьским серебреющим солнцем, часто останавливаясь и отдыхая, движется тощий и длинный старик. Ему помогает идти крючковатая палка — давняя спутница его путешествий. Вдаль старик видит явственно, зорко, вблизи дорога ему неожиданна и беспокойна. «Все ямки с тобой пособираем,— беседует он со своей палкой, словно с живым существом. — Каждая нашей будет». Тыкаясь в придорожье, в еще не просохшую канаву, в бурьян и кустарник, палка тянет его все вперед, к горизонту, где на взлобке, подрагивая, разлилось по проселку водянистое марево. Старик несет тело бережно, голову держит ровно и прямо; скашивая вбок глаза, жадно ловит широкими ноздрями густой, терпкий воздух с садов и полей.

Красотища какая! Зелено, живо все еще — все дожди да дожди. На что полынь, а и та молодится. Хотя в это время ее, бывало, уже собирали да пихали под постели. От блох. А теперь чище жить стали, стоит — не нужна...

Вот из этих мест, лет с полсотни тому, подперев калитку плетневую коромыслом, зашагал он, молодой да здоровый, в город. На деньги. Вон тех белых шиферных крыш тогда не было. И поселка того вон и сада. И поля теперь гонами в два километра. Жили люди тут, пока ты раскатывал. Не сказать, чтоб боялся работы, — работал. Только чуть что, бывало, мастерок иль топор на плечо и айда в другие места, прощевайте. Помотался от Турксиба до Воркуты. Ни с семьею, ни с домом так и не получилось, потому-то и звал сам себя, где бы не появлялся, Перекати-Колей. Звал невесело, с горькой усмешкой.

Не имелось у него страстей-привязанностей, кроме как одного: был любитель он книжек и читал их запойно, что попадая; в торбе его, которую звал Перекати-Коля «книжной лавкой», перебивалась всякая всячина: по истории древнего мира, по учению Канта или про африканских термитов... Пробовал даже сам пописывать — с коих пор в торбе три толстенных тетради. А в последнее время его волновали стихи. Знакомый паренек Ленька Синяев, журналист, подарил ему «Песню о Гайавате». Интересная штука. Перевел ее с английского русский писатель Иван Алексеевич Бунин, когда в Орле жил и работал в газете. Бережет старик Ленькин подарок, завернул даже в целлофан. Увидел как-то на областной карте деревни с названием Бунино, удивился, собрался даже наведать их, а пришлось тащиться сюда вот, к родимому корню, к своей изначальной земле. Остарел, заплосал Перекати-Коля в какой-нибудь год, по утрам уже не в подым, и воды — захворай — подать некому. Да куда, не в артельный же дом как безродственному к старикам. Вот и шел теперь ближе к погосту, где лежат отец-мать...

— Какая деревня? — спросил он рисовальщика-паренька возле пруда, чтобы как-то заговорить с ним, отпустить свою душу.

— А Полозово.

Постоял, посмотрел ему через плечо. Ловко орудует краской, возникают на бумаге дома под железо и шифер, и спросил, удивясь робости в голосе:

— На заказ, что ли?

— Нет, — сказал паренек и обернулся. Оглядел старика: — Учусь в Москве на художника... А деревня, дед, с историческая. С нее писал Шварц — слышал, был такой в прошлом веке? Между прочим, — сыпал парнишка, — жил он тут рядом, в Белом Колодезе, в тридцать один год ходил в академиках, родоначальник русской исторической живописи. Известна его еще дорепинская картина «Иван Грозный у тела убитого им сына»... Так вот с нее, с этой Полозовой, и написал академик пейзаж к своей картине «Вешний поезд». Сирые хаты, к весне голые слуги... А писалось им с этой же точки.

— Скажите, — вздохнул старик, потоптался на месте, оглядел еще раз деревню и опять зашагал, застучал по проселку своей крючковатую палкой.

— А мы-то с тобой, дураки, и не знали, — бранил он ее так, для порядка, беззлобно. — Исторический живописец!.. Ты-то, конечно, магнитогорская, а я, гляди, тутошний, мужлановский я...

В это самое время навстречу старику по дороге из Белого Колодезя двигались двое — садовод Семен Семеныч Чубаров и его внук Алешка. Их автобус полуденным рейсом в село почему-то не прибыл, и они шли на большак, чтобы сесть на какой-нибудь проходящий. Солнце висело по-над ракетами, оттого на проезжей тенистой плотине было зеленовато и зыбко. Недлинная улица с давними каменными постройками-мезонинами в узорную кладку, с орнаментом, наполнилась нынешней жизнью: всезнающими ребятишками, тюлем на окнах, ящиками из-под вермута у магазина, обязательствами у совхозной конторы...

Был самый сезон сбора яблок: бело-колодезский воздух бродил, словно сок отборной антоновки. И Чубаров вдыхал его, тяжелея, хмелея. Иногда блики ложились ему на расстегнутую у шеи ковбойку, на торчащий из-под нее треугольник тельняшки, как юпитером, выхватывали на переносице родинку, выделяли смуглость и пористость кожи. И странным было сочетание серебристых висков с темными, буйными по-молодому бровями, и тело его было плотно, но сухо, подобрано — такие, говорят, легки на ногу. Он шел, слегка подаваясь к земле, словно тянули его большие, чугунные руки, и думы его были невеселы. Он представлял, как пройдет и этот сезон — его последний сезон. Полетят белые мухи, и некуда будет спешить утрами, некуда будет деть эти ставшие враз ненужными руки. Не прибавится дел ни весной, ни осенью. И он станет приходить сюда просто так, на прогулку.

Не ведал Алешка, что творилось в душе его деда.

Был паренек блондинист и круглолик, с чуть грустнеющим взглядом; губы сочны и крупны — верная примета доброты и покладистости человека, смеялись люди — ими хоть валенки подшивай. Шли Чубаровы каждый за своим делом: Семен Семеныч — в райсобс, насчет пенсии, Алешка ехал в город впервые — устраиваться.

Но вот и Мужлановский сверток. Стоит огромная липа, стоит распушается. Лет сто ей, а может, и двести. Кора ее обтрескана, обмыта, обтрепана ливнями и ветрами. Любит вверх-вниз по ней пробежаться всякое му-

равье, особо когда под напором сока лопнет где-либо сладкая кожа; тогда бегут на оказию взводы и батальоны — напрямик через ямы, шершавины...

Когда Чубаров с Алешкой подошли к липе, старик уже сидел под ней, задумчиво трогал своей крючковой палкой муравьиную кучку. На развернутом вершке лежал кусок сахара. Старик наблюдал, как суетится вокруг него мелкая живность.

— Когда это они все зачинят? — присаживаясь на обочину, интересуется Семен Семеныч.

— А соберут совещание, составят смету, согласуют с начальством, — посмеивается глазами старик и вздыхает: — Гляди, быются. И у них это так: кто кого смог, тот того с ног.

— Ишь ты, — косится на него Семен Семеныч, — сам-то, должно, натерпелся, вот и... Как зовут-то тебя?

— Перекати-Коля.

— Так и зовут?.. Мудреный ты дед, — сладко вытягивает Чубаров ноги. — А ну, Алешка, чего там у нас?

Алешка долго роется в сумке, наконец извлекает лепешки — свойские, пресные, в рубчик, потом появляются малосольные огурцы. Добрый хлебный дух перемешивается со сладковато-укропным, возбуждает слюну, рождает желание проверить ее языком.

— Эх-хе-хе, — отворачивается Перекати-Коля. — А мне вот не естся не пьется, никак не умрется. А что, яблок нетти у вас?

— Да ты, дед, еще справный, — улыбаясь, запускает Алешка свои крепкие зубы в лепешку. — Еще поживешь, потянешь. А что это в торбе?

— Деньки потянутся — ноги протянутся. С год назад внутренность тверже была, а теперь все дрожит... А в торбе-то книжка. Во! «Песня о Гайавате». Слыхал? «Дай коры мне, о береза! Дай мне, ель, смолы тягучей, дай смолы своей и соку...» А что, яблочка нетти?

— Эх, жисть, — жуя, вздыхает Чубаров и косит в сторону, откуда должен показаться автобус. — Молодой боится, что постареет, а старый — околеет.

Перекати-Коля прячет книгу обратно. Сидит молча, глядя прямо перед собой.

— Везу вот Алешку и свои документы, возвращусь обыденкой... На, жевни, — подает старику Семен Семен-

ных лепешку. — Отрываю от титьки. Нехай там учится справлять телевизоры.

— Эка куда, — оживает Перекати-Коля.

— Десятилетку закончил Алешка. Хочу, чтоб стал человеком. Вернется внук мой в деревню, надеет сверкальные очки, сядет в пузово личной машины, ха-ха...

— А как же, — в ответ посмеивается Алешка. — Сейчас материальная заинтересованность... Только я тебе уже сказал! — твердеет голос Алешкин. — Пойду на художника. Кистью пойду свое брать.

— Ишь ты, Александр Македонский, — удивляется Перекати-Коля. — Кистью города завоевывать! А скажи мне, чем знаменито здешнее Полозово? Молчишь? То-то... И я когда-то тоже был во! Усы аж за ухо закидывал. А теперь, гляди, на губе три хворостинки и спину колом поставило.

— Все гнулся небось, — буркнул Алешка под нос себе, но Перекати-Коля услышал.

— Молодой человек! — старик, когда начинал закипать, всегда говорил неспешно, отделяя каждое слово. — Ты, скажу тебе, еще что картошка июльская: молода рубашка-то, р-раз и нетти. Губа толста, душа проста... Надо гнуться, не то любого поломает. Жизнь всякого производит восклицательным знаком! А получит человек в зубы — глядишь, погибается, ходит уже вопросительным. Так-то легче. А восклицательных, как гвоздей, возьмь по самую шляпку...

— Каждого не загонишь, — тряхнул головою Алешка. — Новые народятся... Стране нужны не загибшие, а здоровые, сильные!

Муравьи уже заделали вершок и по стариковой палке, прислоненной другим концом к липе, потекли жидкой струйкой к стволу, поползли в шелестящую высь.

Призатихли путники, наблюдая за муравьиною братией, упорно лезущей к солнцу и листьям, туда, где крупнела широкая купа. Иногда полевой ветровей, налетая, задирает ее — сверху донизу начинали ходить полосатые волны, солнце вникало в матерые теми, где и лучилось в бисеринках еще непросохших утренних рос. Перебивая суету воробьиной компании, ссорящейся на самой макушке, шелестит, шумит липа, ходит волнами над головой — липа, липушка вековая. Лето — осень, осень — лето прой-

дут, но все будет здесь, на скрещенье дорог, как и сейчас: муравьи струиться, шептаться над путником купа, но то будут иные люди и времена...

— Интересно узнать, чем все это кончится, — нарушил молчание Перекати-Коля. — Жилось и не думалось, а пришел час, жалко, что и ног на койку скоро не заведу... До погоста доберусь вот и лягу с отцом-матерью рядом. И с бугра все видать будет, и буду с полями я говорить-разговаривать, коли в жизни не наговорился, и ветра принесут дух мне полынный, ромашковый... Хорошо, Алешка, по белу свету побродить-поглазеть. Завоевывай город, а от земли своей ни-ни-ни. Да не шибко бери, а то мигом схрястают, скусят головушку.

— Сирота он у меня, — сказал Чубаров раздумчиво, — боюсь, дюже горяч. Весь какой-то зачитанный. Ищет смысл по книжкам, стало быть, правду жизни.

— Что ты знаешь! — вспыхнул Алешка. — Сам зарылся в сады, а меня в телемастера!.. Техника будет выращивать сады, убирать урожай, а людям — заниматься искусством, совершенствовать жизнь...

— На язык ты востер, — говорил с грустью Чубаров. — А вот когда дело — в кусты. Цельную зиму проучился на механизатора, а как лето — не на трактор, а в город. Художником ему! Не хочешь на этого... телемастера — сам тянись, на копейках. Скотину и ту держат впроголодь, чтобы на зов хозяина шла.

— В бригады б тебя, Семен Семенович, — не унился Алешка. — А то управляющим...

— Порядок нужен, куда без него? Чего взмыкался: то тебе не так, это не так...

Перекати-Коля сидел затихший и строгий. Затем, словно вспомнив что-то, снял затертую шапку, достал из подкладки иголку с ниткой, принялся зашивать дыру на колене. Смахнул муху со лба:

— Мухи, гляжу, пошли злые. Осень же. Не так кусаются, как щелокотно, ползуют вроде как ногтями тебя.

— Куснет, брат, и до крови, — отозвался равнодушно Чубаров и, задумавшись, долго глядел на дорогу, сады, темневшие на горизонте.

— Да кровь, брат ты мой, кого только не тянет... — живо подхватил Перекати-Коля. — Помнится, жил я на Днепрострое, так повадился заяц к хозяйке в сад, глодать

саженцы. А я возьми да намажь их бычиной кровью. Нашлось воронье, добела склевало кору...

Так сидели они, рассуждали. Речь то вспыхивала, то затухала. А липа прислушивалась да шевелилась каждым листом, каждую веткой — липа давняя, вековая.

Не дождавшись автобуса, Чубаров с внуком засобирались домой, позвали с собой и Перекати-Колю («а что, не проживешь нас, не объедешь»). Но тот отказался, остался под липой, начал устраиваться на ночлег. И пошли они, дед с внуком, заторопились, чтоб дойти домой засветло, побрели по дороге на Белый Колодезь. Проходили поселком Кубанью, деревенькою Шишкино, мимо нового клуба. Поспешали липовым парком. Аллен подводили к церквушке — крепенькой, из красного кирпича, со снежным куполом, отчего она казалась незавершенной.

Замечательны вокруг были сады, новый цех-красавец по изготовлению соков. Шел Чубаров, отдыхая душой, радуясь, что идет с Алешкой снова садами. Редки были яблони здесь тогда, в сорок третьем. Полтора года стояла передовая, полтора года убивала сады. Здесь Чубаров высадил первый свой саженец, денно и ночью трудился. Были почетные грамоты, ордена. И вот уберет урожай да на пенсию. Это его последняя осень в садах. Сады — вот что оставляет он людям. Разве этого мало — сады?..

Подобралась и ночь. Луна еще не взошла, оттого в парке было глуховато и жутко. Ноги то уходили в пустоту, то спотыкались. При свете звезд увиделась кладка из светившихся слежек-берез. На бугре возник чубаровский дом-пятистенник. А позади, в парке, липы все так же стояли стеной; на одной из них репродуктор сочным, глубоким голосом, с затаенной страстью пел арию Далилы. Голос все закипал, закипал, взлетал ввысь, проходил над деревьями, утекал далеко-далеко, на мужлановский сверток, к одинокой липе на перекрестке, по стволу от макушки спускался вниз к комелю, где приткнулся Перекати-Коля. Он лежал на бушлате, уперев голову в торбу — свою «книжную лавку», и, еще не остыв, продолжал вспоминать спор Чубарова с внуком Алешкой.

«Город тебя пережует да и выплюнет, — горячился Семен Семеныч». — «А я костистый, кремництый», — огрызался Алешка.

Старик лежал, заложив обе руки под затылок, и глядел вверх, и чуял сквозь липу немигающий свет Поляр-

ной звезды, и губы в такт шелестению листьев шептали:

...Пел мне песнь о Гайавате...  
Чтоб народ его был счастлив,  
Чтоб он шел к добру и правде...

И представлялось ему, что он, Николай Дмитрич, в родимой Мужлановке, на бригадном дворе, пришел сюда с утречка, пока механизаторы еще не отправились в поле. Он читает односельчанам, и люди слушают, внемлют ему, как пророку. А облака все текут и текут, восходя от земли, проникая сквозь нее, как сквозь эту вот липу — липу давнюю, вековую. Были когда-то воп какие писатели — не стало, не станет и его, старика, и тело его исчезнет, сольется с землей, но влага душевная, перейдя вот в такие облака, будет плыть над людьми, над полями, над временем, пока не прольется где-нибудь благодатным потоком.



Стоило трубам сахарного завода возвыситься над южной окраиной Вздвиженки, как тут же на приречной луке засерели дома поселка, прозванного в округе Мотами. В один из таких силикатных домов и переехал из середины райцентра Марат Зерновой. Переехал и назавтра же приколотил перед своей квартирой самостийно сотворенную вывеску «Народный краеведческий музей». Люди быстро узнали про открытие новой культурной точки, и уже к истечению дня первый любопытный зашаркал у порога зерновской квартиры.

Собственно говоря, в быту Зерновых ничего не изменилось: как ютились прежде в комнатухе три на четыре, так и опять стали ютиться в спальне. Остальную территорию глава семейства аннексировал под музей, «какого еще не знала история Вздвиженки». Любаша давно уж привыкла к выкрутасам своего мужа, а в последнее время, убедившись в бесполезности изменить что-либо, махнула на его затеи рукой. И потому если и не помогала, то и не мешала ему собирать экспонаты.

Затевалась выставка предметов народного быта. Зерновой возвращался домой вместе с заведующим райотделом культуры Крахмалевым. Шли они оба неходко, средним шагом. Начальство казалось потолще, лет на пятнадцать постарше. Зерновой был гибок в фигуре, улыбчив и яснолик; выбиваясь из-под фуражки, висели темно-русые, с легким подпалом игривые кольца.

Крахмалев вышагивал важно, руки в карманах. Марат торопился заверить его в своей лояльности по отношению к райотделу, а заодно и выпросить кое-какой

мелочишки вроде клея, полотна, белой бумаги и прочей необходимости.

В зале-музее теснились школьники. Нина Стефановна вела экскурсию ровно, уверенно, указка так и ходила по стендам. Марат с высоким гостем проследовали на цыпочках в спальню, присели к столу, сидели и ждали конца занятий...

За окном серел мартовский снег, темнели деревья, вот-вот вскрыется речка Вздвиженка. Надо спешить, чтоб выставку успели посмотреть и зареченские.

— Вы из местных? — спрашивает его Крахмалев.

— Здешний.

— А имя какое-то... заграничное.

— Всегда спрашивают про имя, — сказал Марат. — Я уж ответ в стихах заготовил.

В дверь кто-то заколотил, раздались шумные голоса. «Извините, Евгений Иванович», — кивает Марат.

Дверной проем заслоняет живая, шумно дышащая глыбища. Ах, да это тетка Олимпия! У кого в мире еще такая мощная фигура?

— Сколько лет, сколько зим. Ну, как там деревня наша, родимая Густоварь?

Сзади кто-то подталкивает тетку Олимпию, но тетка Олимпия стоит непоколебимо.

— Что Густоварь, говоришь? — наконец, выныривает из-под теткиного крыла дед Тришка, теткин муж, и ведет, словно пригнувшись, носом по комнате: — Свое густо варим, чужое не собираем...

Сам он сух, востроват, стоит на ногах шатко-валко, лицо пышет жаром, сырые глазенки так и рыщут по стенкам, над глазами фуражка с крабом. Давным-давно, еще в дни своей молодости, теткин муж с годишко проплавал на какой-то торговой посудине и теперь считает всякое море, в том числе и житейское, по колено.

— Уже нанизался! — осаживает супруга тетка Олимпия. — Пока я по промтоварным, он в винопольный... У, растармашный! — намахнувшись на него, шагает через порог тетка Олимпия и смотрит вокруг с интересом — на витрины, плакаты и стенды. — А это что? — тычет она в кость мамонта. — А это? Вот это? — идет и кивает она то на застывшую фигурку дрофы, то на кусок железной руды. — А это?

— Так это же прялка, тетка Олимпия, — приостанав-

ливается в удивление Марат и смеется. — Своих уже не узнаешь...

— А это? — останавливается она у кострового пояса в изумлении. Пояс и в самом деле хорош, гордость маратовского музея. Лет полтора ему, не меньше, а краски-то, краски! Так и звенят костровым узором. А шерсть-то, шерсть-то — легка да мягка. Недаром такую вещь Марат поместил в главный угол. Ишь, горит, полыхает, высвечивает. Ишь, змеится, извивается, вьется с потолка и до пола...

— Шшо-о это? — осекшимся голосом повторяет тетка Олимпия, вытаращив глаза на пояс, и переводит взгляд на деда Тришку: — Откуда же это?

— Н-да, откуда ему тут? — озадаченно смотрит тот себе под ноги и пританцовывает: — Во дела...

— Это же мой пояс! — буря лицом, гремит тетка Олимпия, так что за окном шарахаются грачи с ракиты. — Это пояс еще, царство ей небесное, нашей прабабки. — Она тянется к гвоздю и мощной рукой изымает костровый пояс из экспозиции. — Вот. Вот. Вот, — мнет она его в крепких ладонях и показывает Марату какие-то подпалины, метки и прочие, одной сй видимые приметы, свидетельствующие о несомненной принадлежности вещи к теткинному роду.

— Да-да, это точно... твоей прабабки... — поддакивает дед Тришка. — Только как он тут? Вот в чем преамбула.

— Злыдень, растащитель, пьянчуга! Все добро из хаты сволок! — засучивая рукава, надвигается на мужа тетка Олимпия. И приостанавливается, принимается подвывать неожиданно тонко, по-бабьи: — Иссушил всю, окающий...

— Небось не помрешь, — отступает дед Тришка. — Когда брал из девок, пятнадцать раз поясочком обхватывалась, а теперь только три. Исхудала...

Тришкины слова уязвляют тетку Олимпию в самую душу, она на момент замолкает.

— Уж кто-кто, а ты бы, дед, из своей бочки не квакал, — говорит она неуверенно. — Гермаген нашелся...

— Диоген, — вставляет Марат.

— Ей-бо... того, — невинно глядит на Марата дед Тришка и, обернувшись, переходит в атаку, кричит визгливо на тетку Олимпию: — У-у, тайфун! Еще оскорбляет!

Всех врагов общей жизни на одну мою голову: Гермаген, Дюген...

— Гематоген,— вставляет кто-то из школьников, до-толе неслышно наблюдавших за сценой.

— Ге-ма-тоген,— отбивает четко за ним дед Тришка и поворачивается на звук: — Гематоген... кгм... Это, интересно узнать, чей же будет еще такой император?

Школьников бросает в безудержный хохот. Смеется и Зерновой. Оценив обстановку, тетка Олимпия поднимает голову, толкает новокрещеного императора к выходу и, ведя его под конвоем, исчезает за дверью с ценнейшим экспонатом музея под мышкой. Вслед за Императором уходят и школьники.

— Это как же понимать, товарищ Зерновой?! — на-двигается на Марата заведующий райотделом культуры.— Если перевести экспонаты на количество бутылок, скольких ты...

— Евгений Иваныч,— бледнеет Зерновой,— все добы-то честь по чести. Трудями досталось. А этот пояс дед Тришка сам приносил.

— Ну вот что! — хмурит уже в коридоре лохматые брови начальство.— Райотдел культуры так считает: вернешь костровый пояс в музей — оправдаешься делом, разрешим выставку. А вообще не беру на себя такую ответственность. Завтра с утра в райисполком, к заместителю. На беседу по существу.

«По существу, так по существу»,— упавшим голосом повторяет про себя Зерновой и старается не смотреть в угол с пустыми гвоздями. С тяжелым сердцем садится он за стол и сидит допоздна. Сочиняет письма частным лицам, музеям, чтобы прислали ему то одно, то другое. То в обмен, то просто так. Пишет он туго, напряженно, на-ходя нужное слово, предчувствуя и возраст, и темпера-мент, и интересы, и тысячи тысяч всего того у предпола-гаемого читателя, что решит судьбу его просьбы. Он и почерк выработал безукоризненный, и бумагу на святое дело бережет мелованную, чтобы хоть чем-то сдвинуть с места душу своего адресата.

Походил, поездил. Чего только не собирал. Забивал экспонатами сараюшку, сенцы и комнату. Любаша с пя-тилетним Колюнькой уж привыкли перепрыгивать через кипы желтых газет, стопки гербариев, через Маратову радость — кусище железной руды, найденной в речном

отвале у Самочерновки. Он и сам привык ко всему: и ходить по единой свободной дощечке, и ужимать семейный бюджет, и тратить деньги и отпуск на поездки по нужным местам. А когда доводил экспозицию, как он всем говорил, до «экстаза», ехал сдавать ее в область, в краеведческий музей. «И не жалко? — спрашивали. — Столько лет жизни». «Жалко, — отвечал Зерновой. — А куда же мне все? Пусть идет на люди». И теперь вот, извольте, в райисполком. На беседу по существу...

С тяжелым сердцем проходит Марат в спальню. Мерно сопит в своей кровати Колюнька, Любаша лежит, отвернувшись к стене. Тихо плачет Любаша. Ах, эти женины слезы, бессловесные слезы. Все знает, все понимает. Слышала, интересно, про райисполком? Сама же давала на пояс пятнадцать рублей. Отсчитывает ему на всякое тройки, пятерки, десятки, дает на билеты туда и обратно — в Киев ли, Суздаль, Воронеж... А вчера кто-то из ее сослуживцев заметил, до чего же аккуратно у нее на пальто заштопана дырка. На перелицованном, на месте бывшей пуговицы.

— Ты все о том же? О проклятой штопке? — подсаживается Марат к Любаше и топит руку в ее волосах. — Ну, глупая она, та женщина, глупая!

— Ты у нас умный, — отстраняет Любаша его руку. — У Колюньки прохудились ботиночки, и тебя же — по существу...

— Но, Любаша...

— Что Любаша?

— Колюньке ботиночки купим. Вот пришлют зарплату...

— ...барин нас рассудит. Третий месяц шлют. И кому в голову стукнуло оформить тебя заведующим клубом где-то в Дворищах?

— Ты же знаешь, что в районе нет такой штатной должности — директор музея. Дали ставку — значит, верят, Любаша, в меня, в дело моей жизни. А костровый пояс...

— Костровый пояс! Шею стянул петлей... я еще молодая, я жить хочу! А не ходить в отрепьях во имя твоих сумасбродных затей, во имя...

— Замолчи-и!! — Марат задохнулся от крика.

— Ты что... на меня так? — шепотом, словно во сне, сказала Любаша и упала лицом в подушку.

Колюнька зашевелился, зачмокал губами. Она лежала и вздрагивала, сдерживалась, чтобы не разрыдаться, зарываясь в подушку то правым, то левым плечом.

Он толкнул дверь, вышел в чем был наружу. Воздух резко ударил в легкие. Под ногой захрустела льдистая корка. В чьем-то сарае встряхивались на насесте спросты куры. Глухо ухала паровая баба на заводе, над всем поселком, уходя к звездам, горела алыми точками заводская труба.

Ну, трудно, трудно! Так дело какое — для всех ведь. Ведь съест скука, если жить просто так, для копейки. О чем мечтали с Любашей в семнадцать лет? В семнадцать все готовы за идеалы хоть на край света, к чертям на кулички, на плаху. А потом только поддайся. В двадцать пять — захочешь, чтоб край света стал поближе, а плаха — помягче. В тридцать — идеалы уже не выше кухонного стола. И вот в тридцать пять человек нечаянно узнает, что жил не так, как задумывал, что не сделал в жизни самого главного. Липкий пот ночами, страх и холод в сердце — все это ему было знакомо, так мучительно, пока не нашлось достойное дело, и сознание не утешилось мыслью, что он не просто так, он нужен кому-то. И этот костровый пояс, эта тетка Олимпия, сотни писем, людей, экспонатов, этот вызов в райисполком для беседы по существу...

Скрипнула дверь — вышла Любаша. Постояла, поглядела на алые точки заводской трубы, набросила на Марата тужурку, прижалась к плечу:

— Прости меня.

Утром выяснилось, что заместитель председателя райисполкома с вечера еще не вернулся из дальнего колхоза, и Зерновой, не теряя времени даром, решил отправиться в родные места, в Густоварь.

В полях сильно парило, чмокали, уходя в землю, тающие снега. От густого земного настоя кружилась голова, сладко толкало сердце. Санная дорога была еще вся во льду, принакрыта конским навозом, она бугрилась над местностью и знакомо вела, подгоняла Зернового в родную деревню. Еще спуск и изволок. Еще один лог и вот она, речка, светлая, славная Вздвиженка. Скольким обязан каждый из нас такой невеличке. Детство на берегу, в плоскодонке, здесь тебе и еда, и игрища. Караси и плотвичка снуют по коленям, в пятки бьют роднички,

заросли ивы свешивают косы в самую воду. На песке горит неумолчно костерчик, и кипит, кипит в котелке. И Володька Ефремов читает про ковыльные степи, про вольную жизнь, про Тараса Бульбу и запорожцев, и казакуют пацаны ковылями до горизонта, сшибаются в рубке с ненавистным захватчиком, горят в огне вместе с Тарасом, вместе с ним шевелят спекшимися губами: «Да разве найдутся на свете такие огни, муки и такая сила, которая пересилила б русскую силу?..»

Но сейчас Вздвиженка взбухла и почернела. С вечера поднаперли полые воды и подняли, вспучили лед. Но ведь вон же она, Густоварь. Вон и хата родная. Мать что-то делает возле ракиты... Вон и дом тетки Олимпии. Тетка Олимпия, тетка Олимпия... Ведь и впрямь без кострового пояса не разрешат, чего доброго, выставку. Ну что ж, надо, так надо. Своя речка, не выдаст... «Переправа, переправа, берег левый, берег правый...»

Лед под ногами задышал, захрустел, белые ветки разбежались далеко вперед, и Марат почувствовал, что уходит куда-то вниз, в темную воду. На крик прибежали люди из ближних хат. Его багром и ремнем вытащили уже из-подо льда. Отнесли к матери в хату. Сколько лежал, провалившись в бездну, Зерновой и не помнил. Бредил, метался, снова бредил костровым поясом, «разговором по существу».

Очнувшись, он увидел перед собой лицо матери, услышал чьи-то голоса и глубоко, с присвистом вздохнул.

— Живой! — всплакнула мать, и мужики загалдели, забалабонили наперебой.

День был праздничный, под вечер, поуправившись, они сбились к Зерновым и караулили «утопленника», коротая время за разговорами. Громче всех выступал дед Тришка, нареченный во Вздвиженке — как уже было известно всем — Императором.

— Большой воды под киль сыну твоему, Мефодьевна, — возблаговестил дед Тришка.

Марат поднял голову, дурман постепенно сходил с него, взгляд прояснялся. Мужичкам уже было весело, разговор то и дело прерывался натиском смеха.

— Слушай, Марат! — кричал Император. — Еремей приволок тебе сани-кошевки для выставки, вытащил из курятника, не нужны?

— А я а... а... оглоблю, — выговаривал заикастый

Жилкин. — Ми... ирровая оглобля. Еще купца Парамонь... монь... монькина на а... а... оглобле этой возили.

— Оглоблю, язви ее душу! — хохотал Император. — Кому она, оглобля твоя, ха-ха. Разве твоей Жилкинихе...

Дед Тришка обернулся на стук двери и осекся: в дверях стояла тетка Олимпия. На груди ее сверкала медаль.

— Я тебя, дьявол, зачем посылала? — густо спросила она деда Тришку.

— Во баржа, во трюмы свои расходокала, — криво улыбнулся обществу Император.

— А ну марш ко двору! — трянула Императора тетка Олимпия. — Трепотни твоей тут не слышали!

— Отойди, говорю, не то торпедирую... Глядите, какую медаль вчера моя Олимпия отхватила на совещании. — Император явно поворачивал разговор в другое русло.

— За что ж тебе, а, Кирилловна? — зашумели голоса.

— За показатели, — коротко бросила тетка Олимпия.

— Зря, что ль, на свиноферме с утра до ночи? — сказал, гордясь, Император.

— Дурак! — обрезала его тетка Олимпия. — За доблестный труд, конечно, — обратилась она ко всем. И наклонилась к Зерновому.

— Слушай, Васильич, — голос ее задрожал необычно, она смахнула со лба ладонью испарину. — А ить я принесла тебе свой поясочек обратно. На, милый, родимый, — распрямилась она, и голос ее приобрел прежнюю крепость. — Вот, — плеснула она из свертка, и, горя костровым огнем, пояс раскатился по полу до самой двери. — Пускай пребывает у тебя там, в музее. Пускай люди смотрят, какие-такие в роду Градобойновых были кудесники... А то ить как, — заговорила она тише и доверительней, — подходит ко мне вчера в перерыве на совещании заместитель предрика вместе с таким... сероватым... Ну, начальником по культуре. Правда, мол, Олимпия Кирилловна, что Зерновой экспонаты за выпивку в свой музей отбирает? А меня так и дернуло. Я им так вот прямо в глаза. Вы, говорю, мне медаль сегодня вручали и чествовали, я молчала, а теперь дай скажу... Какой же такой у него свой музей, когда это дело общее, можно сказать, государственное? А коль общее, до коих

пор ему одному на свою трудовую копейку собирать костровые пояса? И до коих пор тот музей будете держать в частной квартире?.. Вот какому человеку надо медаль за все его трудовое, общественное, а не дергать по райисполкомам для «беседы по существу». Заместитель предрика сверкнул глазами на начальника по культуре и начал ему напоминать про какие-то финансовые фонды. А ко мне повернулся и говорит: «Письмами люди райисполком запрудили. И прудят, и прудят, просят помочь Зерновому. Есть решение передать старое здание гостиницы под районный музей. Так что пусть Марат Васильевич поскорее выздоравливает. Хлопотать надо...»

От стольких слов, сказанных сразу, тетка Олимпия приустила. Снова под села к Марату, гладила на колесе шерсть кострового пояса, повторяла:

— В хорошие руки даю. На вечный погляд трудовому народу.

Марат подтянул пояс к постели, примерил к груди, улыбнулся:

— А ведь отпятила ты, тетк, кусочек от пояса?

— Отпятила, батюшко... Да ить как же? На память. Дарю, а жалко. Наше, семейное, градобойновское... Болела как-то, лежу на печке — на улице выюга, в хате сумеречно. А он передо мной на гвоздочке висит и горит, и светит. И в хате светло, и на душе благодать.

— Ладно, — засмеялся Зерновой и сжал руку тетке Олимпии. — Ничего, пояс твой и без того длинный, бесконечный твой пояс. Вон откуда к нам тянется, из давнишнего века, а через нас протянется к нашим детям и внукам. Чтобы помнилось градобойновское.

Зерновой видел привычные лица, привычные стены, чуял привычный гуд и привычные запахи лука, капусты, соломы, свежего хлеба, и густой, устоялый дух стенного бревнистого дерева вливался в него через душу и растекался теплом.

«Значит, сдвинулось, — думал он. — Значит, пойдет». Он принялся мозговать, какую ему теперь сделать новую вывеску — прежняя, конечно, тускла, мелковата. В голове заходили дела, и все неотложные, важные: надо пробраться в глухие, лесные деревни — там, говорят, кое-где хранятся старые книги; наведаться в Гречиках к одному деду — резчику по дереву; в Коновике — делали

сбрую. р Живых Ключах — вышивали, в Суходолье — ткали ковры. А то ведь растащится, затрется все, черви съедят, позабудется. С куском железной руды из-под Самочерновки не забыть сходить к заместителю предрика — видать, мужик понимающий, свойский: пусть вызывает геологов... И куда нашей Вдвигенке без музея, и куда музею без кострового пояса? Всех стянул воедино: из давнего через нас перекинется в вековые века.

## Черная береза

Письмо лежало в кармане у сердца и жгло, прожигало его каждой строчкой: «Дорогой Владимир Николаевич! Мы приглашаем Вас в места, где проходила Ваша молодость боевая... На памятнике у братской могилы, что над обрывом нашей маленькой речки Снежеди, есть и Ваша фамилия... через архив Министерства обороны выяснили, что Вы живы... красные следопыты села Светлогорье».

Ехать к себе на могилу! Признаться, поначалу он растерялся от необычности ситуации, в которую ввергало его это письмо. Когда же все в нем сменилось воспоминаниями и размышлениями, он пошел к начальству отпрашиваться в дорогу, приугадывая свою поездку к празднику, к Дню Победы.

Его поспешно снарядили в путь, даже выписали командировочные, и многие пришли провожать его на вокзал. Из заурядного виолончелиста в оркестре он вдруг превратился в весьма примечательную фигуру, словно и в самом деле надо было где-то погибнуть, чтобы снова воскреснуть и жить. До сих пор он помнил привкус сухого шампанского в вокзальном буфете, звон бокалов и смех товарищей, радостный клекот их громовержца — главного дирижера...

От небольшой станции на Орловщине, куда доставила его электричка, ему надо было еще километров за двадцать пять. Одолевали воспоминания. Не заходя в вокзал, прямо с поезда, он решил отправиться в Светлогорье пешком, по-солдатски. В пути эти места узнавались памятью все решительней, все ближе вставали события прошлого.

Он был строг и худ. Собираясь сюда, извлек на свет

божий еще те, офицерские свои сапоги и теперь шел в них, поскрипывая, намеренно резко поворачиваясь то вправо, то влево, чтобы еще раз услышать перезвоны медалей, наколотых на парадный костюм. Справа он прикрепил орден Красной Звезды, полученный в сорок третьем за Светлогорскую операцию. Память о ней хранили тело его и лицо — щеки, покрытые тонкой розовой кожей, шрамы на месте бровей, сплюснутый нос... Только лоб был чист, высок и нетронут, над ним плескались белокурые волосы — юно, неукротимо. Ветер нес с майских полей запах ушедшего в землю снега, сильного чернозема, гулы работающих агрегатов. Сейчас люди сеяли, а тогда, в августе, война снимала в полях свою страшную жатву...

Он нашел школу быстро. Набежавшие ребяташки, среди которых, возможно, были и авторы того самого письма, проводили его к тете Паше. Засуетившись, та сообщила, что и школьное, и колхозное начальство пока-тило в район, а уже из района с военкоматовскими и райкомовскими — на станцию, а уже со станции с почетным гостем должны б и сюда, так что расстроились. Сумерки между тем уплотнились, сизоватая дымка устремилась с парящих полей на бугры, на пришкольный сад, на школу. Протерев окна, пол в коридоре, тетя Паша отперла директорский кабинет и начала домовито стелить гостю на диванчике, как уже привыкла делать это для всех приезжающих. Взглянув на него при электричестве остро и как-то раскованно, она вдруг потеряла твердость движений, осела на простыню, сказала ласково и сокрушенно.

— Да что же это я, право... Сын мой — директор школы, идемте ночевать к нам — накормлю, напою.

Он лежал в хрусткой постели и ждал утра. Посреди ночи под окном зарычала машина, хлопнула дверь, раз-дались голоса.

— Тсс! — услышал Владимир Николаевич голос хозяйки. — Он уже здесь, у нас.

А он все лежал и ждал утра. Что-то смущало его в этой женщине, что-то в ней было далекое, неуловимое. Он слышал за дощатой переборкой ровное мужское дыхание, дыхание ее сына — директора, ее дыхания он не слышал, сколько ни напрягался, и понимал, что она тоже не спит, тоже, вероятно, смотрит в окно, видит Большую Медведицу и тоже думает, думает... О чем думают люди

почти в пятьдесят? Да к тому же в такой момент, как у него? О том, что прожито и что пережито. Ему не в чем себя упрекнуть. Трудился, трудился. Если бы он был рабочим, сказали бы, трудился в поте лица. Но пот у вполончелиста иной, да и лицо у него... н-да... Говорят, раны война красят, а разве расскажешь залу, что сожгло, опалило тебя в сорок третьем? Да ведь и не рассказы ждут от тебя, а мастерства, вдохновенья. Если б не эта война, он в сорок третьем закончил бы консерваторию. Он был талантлив. Во ржи сожгло тогда не только лицо... Руки, руки! Какие они бугристые, рваные. Ушла из них уверенность, легкость ушла... Но он все же добился своего, он стал музыкантом. Не прямой, не соло, не виртуозом, но стал. И если сейчас держать отчет перед теми, кто лежит в земле, он может смело сказать, что не изменил делу своей жизни, война не сломала его...

С утра все развернулось, словно в кинематографе: встречи, знакомства, приезд райцентровского начальства, журналистов из газет, радио, телевидения. В Светлогорье, по случаю Дня Победы, затевался масштабный митинг.

Он решил пройти по окрестным полям и балкам, по местам, где когда-то... убили его. Попросил, чтоб никто не шел за ним, не трещал кинокамерой, не расспрашивал. С ним был только хозяин дома, где он остановился,— директор местной восьмилетки. Был Светлогоров того счастливого возраста, когда порывистость молодости уже ложится на нажитый опыт. Понятия о жизни он был, вероятно, такого же, потому что почти так же, как и Владимир Николаевич, не столько глазами, сколько сердцем воспринимал заросшие в логах траншеи и пулеметные гнезда, высветившиеся на просторных полях зеленыя, лесополоски из крепких дубков, в почках которых созревала, тужилась, готовясь выпростаться, новина.

Картинки прошлого обжигали солдату память. Вот этой длинной и узкой балкой они — тремя танками — уходили тогда на рассвете в рейд по тылам врага. Вот здесь соскочила с брони та светлогорская девушка, их проводница, долго махала рукой. Разведка боем — все понимали, что это значит. Хрустела на плече у него новенькая портупея: лейтенантик, только что с курсов, командир взвода разведки...

— Есть обеспечить наступление разведанными. — звенит в ушах то, что он говорил командиру.

А позади в окопах ребята. Вся дивизия у них за спиной; впереди — затаившийся враг.

Прогремев по тылам и потеряв одну боевую машину у станции, они возвращались домой. Уже маячило Светлогорье. На этом поле снарядом разворотило башню, его швырнуло далеко в сторону. Он очнулся во ржи. Былки качались, качались над ним, словно лес, палило солнце. Лопалась голова, губы трескались, не вмещался во рту распухший язык: пить... Совсем близко послышались смех и немецкая речь. Затрещало, заухало — в танке рвались боеприпасы. Огонь шел по ржи на него, и он уползал, скребся вперед, обдирая нос и плечи, а огонь уже хватал за пятки, руки, лицо. Горели хлеба и, яростные, обезумевшие, несли смерть вместе с дымом. Обессиленный, он скатился в травянистую выемку, лысину — вымокший осенью хлеб. И уткнулся в землю лицом.

— Стой, руки вверх! — услышал он голос и, скосив глаза, увидел красную звездочку на пилотке человека со скуластым лицом. «Казах... соседняя дивизия... наступают», — отлегло у него, и он опять потерял сознание.

Все это давнее и, казалось, забытое так живо вошло вдруг в душу и тело Владимира Николаевича, что его передернуло, от жара и боли опять заломило лицо. Вот эта балка. И это поле. А выемка, где же та выемка, его спасительница? Трактора разровняли, разгладили землю...

С утра они с Светлогоровым не сказали друг другу и слова, да слова были и ни к чему. Лишь уже подходя от заречных выселков к самому Светлогорью, Владимир Николаевич заметил спутнику, чтобы чем-то заключить их молчаливый союз:

— Тут у вас в Светлогорье везет, наверно, на Светлогоровых?

— Нет, почему же, — ответил директор. — Я только один. Да еще, правда... сынишка мой — Саня, Санек. Между прочим, тоже из тех следопытов...

К площади перед сельсоветом уже стекался народ. Шли и ехали из всех дальних и ближних планов самого Светлогорья, из соседних сел, хуторов и деревень. Ставили в «козлы» велосипеды, расставляли рядами мотоциклы и автомашины. Все были праздничны и наряд-

ны, а чего же еще? — отхлопотались, отсеялись, положили в землю зерно новой жизни, можно поднять чарку за живых и за мертвых, помянуть все и вся в День Победы. Ветераны ходили героями, в орденах и медалях, — по медалям за Прагу, за Варшаву, за Кенигсберг узнавали своих по фронтам, дивизиям и батальонам.

Светлогоров провел почетного гостя в школу. Здесь представил его следопытам — ребятишкам любопытным и шустрым, и уже все вместе прошли в конец школьного сада, к обрыву, к братской могиле.

— Вот, — сказали следопыты, и все, кто был, затихли и сняли шапки перед небольшимobeliskом с пятиконечной звездой, перед черноствольной березой. И странно, дико было видеть ее такой — черной. Шляпа в руках Владимира Николаевича запрыгала, на лбу выступила испарина: предпоследней в табличке, почти на земле, прорезанной травой, была и его фамилия: «Лейтенант В. Н. Тихомиров (1923 г.—1943 г.)».

Он стоял, склонив голову. А народ натекал, натекал. Над селом вдруг сошлись тучи, и грянул пролетный майский ливень. Теплая благодатная влага уходила, стекала со щек в ноздреватую землю. Он подумал, что, пойдя дождь еще с полчаса, вероятно, дойдет влага и до них, там лежащих. Он думал об осени и зиме, когда прошивают землю грязевые потоки, холода превращают в колодку мертвое тело, и ощутил все это на себе живо и осязаемо. Он даже потрогал себя: вроде живой. Ну, конечно! И жив в нем шелест дождя, сладковатый запах акации, умытые лопухи и крапива. А тем, которые внизу, не в мире живущих, уже не дано ни видеть, ни слышать, ни любить, ни болеть и ни здравствовать — ничего не дано. «Реквием» Моцарта возникал в его сердце, и он играл сейчас в симфоническом оркестре соло на виолончели — свою главную партию, ту, ради которой он отдал себя музыке; и волшебные, скорбные звуки возносились, бились о тучи, пробивались к самому солнцу...

Дождь прекратился, и многие ушли из школьного сада на площадь, к трибуне. В праздничном платье и яркой косынке, глядя прямо в глаза ему, медленно и торжественно к нему приближалась хозяйка его квартиры, мать Светлогорова. «Да-да, — узнавал он ее по глазам. — Да-да, это она! Как годы ложатся на нас... почти тридцать лет...»

— Ты?! — сказал он ей, дрогнув.

— Да, я... Я знала, не верила, молила все небеса, всех богов призывала... Труп обгорелый нашли на броне — наверно, кого-нибудь из экипажа. А утром танки с десантом ушли...

— Я знаю, их бросили на прорыв. А я попал к пехотинцам... Валялся по госпиталям...

Подошли Светлогоров с сынишкой Саньком и стали на момент рядом с Владимиром Николаевичем, и парод вокруг ахнул: копия все трое, портрет, да и только — белокурые волосы, круто срезанный лоб и глаза... Шелестело по людям, переходило в ропот волнение.

— Чтой-то, Прасковья Ильинична, мужички твои и дорогой наш гостечек промежду собой больно сходственны,— наконец, насмелилась Марья Якимова, про язычок которой говорили в Светлогорье, что она им мужу-сапожнику дырки в сапогах для дратвы прокалывает.

Люди задвигались, загалдели, подступили ближе. Прасковья посерела лицом, огляделась. Наткнулась на Тихомирова взглядом, вся вспыхнула, склонилась к плечу Светлогорова, сказала тихо:

— Он сын ваш... Владимир Николаевич...— И вдруг сорвалась, заспешила, словно боясь, что ее перебыют: — Да, это правда. Я воспитала его сама. Мне было трудно. У многих не оказалось отцов — война. Но здесь у нас была оккупация, и он родился не в срок...

— Боже! — стоял Владимир Николаевич. — Но почему, почему ты никому ничего не сказала?

Толпа напряглась и застыла. Кто-то вытер платком глаза, кто-то хлюпнул в платок.

— Слышь, Ильинична, — вышла бочком вперед Марья Якимова и опустила голову, сказала за всех: — Слышь, родная, многострадальная мать... Ты прости нас, повинную голову меч не сечет. Прости нас, деревенских, меня, дуру, язык свой хоть завтра обрежу и выкину, на черта он... Кланяюсь тебе от всего честного народа.

— Да ты что, Марьюшка, что ты?

— Кланяюсь тебе за то, что зла к нам не имеешь! — распаяясь, кричала Марья в народ. — Сына вырастила в любви к людям, ко всему Светлогорью. Сама, без мужика, подняла его... Что одной любовью просквозилась...

Толпа потихоньку растаяла.

Нескрываемо глядела Прасковья на того, кто когда-то мелькнул в ее жизни. Узнавала и не узнавала, и был тот самый случай, когда шрамы красили воина. Она вспоминала его молодым, вихревым. Он смотрел на нее так, что жить хотелось впервые за долгие месяцы.

— «Вот и я стал одинок, — говорил он, и слезы стояли в его глазах, — под бомбежкой погибли мать и сестра. Завтра разведка боем, — он заиграл желваками, — значит, мы первыми из дивизии станем еще на двадцать пять километров ближе к нашим границам. Может, там и останемся... ближе... Ты покажешь мне брод через вашу Снежедь». — «Нет, ты не один, — шептала она, — не один», — и ей было с ним хорошо...

— Помнишь, как ты уходил за Снежедь? — сказала она.

— Да, помню.

— Я принесла сюда эту березку оттуда, где сгорел танк. Бедная березка!

— Черная.

Он тихо смотрел на нее. Русская женщина. Крепкие, сильные плечи. Лицо потемнело под ветрами и солнцем, глаза в тонкой сетке морщин, но они все так же прекрасны, как и тогда. И проникновенны и ясны, чего так не хватало, да, не хватало ему самому в последние годы...

— Сын, — повернулся отец к Светлогорову, — как ты жил?

Светлогоров молчал. Он тоже не спал в эту ночь. И говорить он не мог.

От школы в уголок сада над Снежедью торопился посыльный:

— Товарищи, народ ждет вас, приглашают на митинг.

Их провели на трибуну, поставили всех троем рядом — отца, сына и внука. И ветер заполоскал шапками их буйных светлых волос, и глянули они в народ одинаково и улыбнулись, засмеялись всем одинаково. И вихрь налетел и сорвал овалы с запруженной площади, грянул в небе первый весенний гром.

— Ильинишну на трибуну... Прасковьюшку... тетю Пашу... — закричали снизу и успокоились только тогда, когда на трибуне между белыми головами запестрел и ее яркий платок.

Говорили речи. И от имени колхоза, и от военкомата, от следопытов школы. Но все ждали только его.

— Товарищи! — сказал Владимир Николаевич и побледнел и, чувствуя в себе прилив силы, крикнул в тысячи глаз: — Я говорю вам от имени павших, потому что имею на это право... Здесь мы воевали, побеждали и гибли... Лишь в Кривцово, тут рядом, в одной братской могиле, вы знаете, сразу двадцать пять тысяч... Почти тридцать лет здесь, в Светлогорье, над моей могилой... черная береза. Сегодня она может снять траур. Но никогда не снимем мы траур по тем, кому уже никогда не воскреснуть. И в День Победы... и в праздник Победы... склоняемся...

Волнение перехватило горло, не дало говорить. Он слушал сына и слышал, как вновь и вновь возникает где-то внутри его «Реквием» Моцарта. Мужественные звуки несут его в поля, в облака — в бесконечность... Он держал за руки внука и Пашу и думал о том, что у Прасковьи семья, а он все один, и обратно ему и ехать-то не к кому: от жены, умершей давно, никого не осталось. И он понял: не раны солдатские, не обезображенное войною лицо не дали расцвести в нем таланту, а одиночество. «А ведь останусь здесь,— с радостью думал Тихомиров.— Ну, когда людям поздно друг к другу? Никогда».

Еремеева  
правда

Офицер Николай Паителесв, мой школьный товарищ, ехал в отпуск и завернул, как обычно, ко мне.

— А что, брат,— сказал он, заметно волнуясь,— не махнуть ли нам в мою родную деревню? Все же я не был там целых пять лет...

— Махнем,— сказал я, и в субботу мы покатали автобусом.

Под гудение мотора сладко вздремывалось. Николай рассказывал об одной девушке, Тане, которая писала ему все эти годы, а в последнее время перестала.

Легкие тени наплывали на лицо Николая, и я думал, что едет он в Песковку свою неспроста.

Деревня была не лучше, но и не хуже других. Сентябрь уже засветил клены и липы. Стояла стеклянная, оцепенелая тишь. Лишь где-то у мельницы одиноко тюкал топор, и звуки стлались по самой воде. Мы приблизились к мельнице.

— Эй, старина! — окликнул Николай.

Старик загнал топор в дерево и обернулся — живой, суховатый, с прокуренными усами.

— Никак Фроськи Круговой сын? — подошел он, щурясь, и протянул ладонь, желтую от курева по самую кисть. — Вот холера тебя заверти, а я думаю, кто б это? Ну, здорово, служивый, где сейчас служишь?

— Там, — посмотрел Николай на запад и слегка заиграл желваками. — От места, где погиб отец, в двадцати километрах... Ну, а ты дед Еремей?

— Да что я, — присел старик, доставая кiset. — Все ковалем бегаю, сто сорок оборотов в секунду.

— Ну, а как тут житье-бытье? Что новенького? Жив дружок твой, Александр Петрович? Что Таня... внучка его? — Николай придержал дыхание, снял фуражку и вытер на лбу испарину.

Дед Еремей не спешил отвечать. Он закурил свойского, реактивного, от которого, «ежели без привычки, по-обрываются легкие», перевел разговор на другое, и тут слова просыпались из него, как горох.

— Видишь, — кивнул он на мельницу, — лажу плотину. Весной сорвало. Хотели уж нынешним летом и не прудить — трактором камень гонять, да мужики-карпятники настояли... У преда тоже губа не дура. Вызвал к себе в кабинет и спрашивает: «Оправдаешь, дед Еремей?» Оправдаю, отвечаю, а как же ж. Молодые шурятами по поддону, ищут, где бы поденежней, а меня сюды... Ну, да ладно, — заторопился старик, заметив спускающийся с горы председательский «козлик». — Прошу на вечерок ко мне, тогда, значит, все и обтолкуем. Про житье-бытье значит...

Вечером мы направились к дедовой хате. Хата его была крепкой, под шифер, видно, недавней постройки. Бабка хлопотала у погребницы с утками.

— Привет бабке Анисье, — поклонившись, сказал Николай. — А где дед Еремей?

— Где ему, черту, — буркнула бабка Анисья, в данный момент пребывавшая не в настроении. — Должно, у своего Александра Петровича.

Дом Александра Петровича оказался через три двора, на самой околице. Чисто выбеленная постройка проглядывала из глубины сада, над ней высоченно торчала слегка — телеантенна. Мы прошли тропинкой мимо колодца, мимо кустов георгин, свисающих через плетень. Увидели деда Еремея, скособочившегося за верстаком.

— Ишь, — мотнул он усами на свежие доски, — не хуже редьки строгаются.

Прошли через сенцы, в которых пахло ржаной мукой, попали в переднюю. Опрятный и уютный вид придавали ей тюлевые занавески и большая, во всю стену, политическая карта мира. Направо, как обычно, располагалась русская печь.

— Александр Петрович! — провозгласил дед Еремей. — Пришли к тебе в гости. Что есть в печи, на стол мечи.

В глубине дома раздалось сначала кряхтение, затем послышался слегка дребезжащий старческий голос:

— Как ж-с, как же-с... Прихворнул я что-то, мой дорогой... Да ты зови, зови их сюда, в гостиную.

Гривастый старик — бородка клинышком, бледный и грузноватый — сидел с книжкой в постели.

— Опять обезножил, — повернулся к нам дед Еремей. — Опять у тебя эта, как ее там... педагра? — улыбнулся он дружку. — Вот мы сейчас ее. — И вытащил из кармана бутылку.

— Магази́нная? — удивился хозяин.

— Купило притупило, — поднялся дед Еремей и прошел к столу. — Бабка моя прислала тебе полынового отвару. Как раз, говорит, для твоих ног.

— А-а, Николай Кузьмич, здравствуйте, здравствуйте, — заблестели глаза у хозяина, и он начал сразу, без всякого перехода. — Представьте себе, человек по своим физиологическим данным может жить без болезней полторы сотни лет. Вот нам с Еремеем Семенычем на двоих лишь немногим побольше, а уже, пожалуйста, — сердце, одышка... Ну, у нас в России еще ничего, а вот в Индии средняя продолжительность жизни двадцать пять лет.

— Как у лошади, — заметил дед Еремей, живо усаживаясь у его ног.

— А что, Еремей Семенович, разве лошадь дольше не может? — повернулся к нему Александр Петрович и часто-часто хлопал красноватыми веками.

— Не может! — всплеснул руками дед Еремей. — А еще зоотехник, пол-Европы объездил... Да лошадь как за двадцать, так уже без зубов. Летом на траве еще может держаться, справной быть, а зимой кормок грубый — чем ее, манкой кормить?

За разговором щеки стариков постепенно затеплились, глаза повлажнели.

— А скажи, Александр Петрович, что-нибудь по этому... по-французски, — подмигнул нам дед Еремей. — Чему тебя там в Европах учили?

— Ах, боже мой! Ну, что вы, Еремей Семеныч! Ну, не обучился, не знаю я иностранных, хоть и жил за границей. Так, всякую малость: же ву зем, спик ю инглиш... И не в Европе я был, а в Америке и Австралии, — объяснял мне Александр Петрович. — А в Песковку я попал из Москвы. Здесь после революции на базе поме-

щичьей экономии совхоз создавался, меня и прислали сюда зоотехником. Овец разводить. Хозяйство племенное, на всю республику. Посылали за границу, на лучшие фермы. В общем, кое-что повидал.

— А вот барыня была у нас, — откашлялся дед Еремей, — Аграфеной звалась, тоже овец водила. Мы, песковские, к этой самой Аграфене и были приписаны. Отец Александра Петровича служил у нее конторщиком. Аграфена, как мужа, графа своего, похоронила, так, бывало, из милости отцу Александра Петровича на праздник то червонец, то на зиму к себе ребятишек на перины-матилы...

— Да уж, верно, жилось нелегко, — вздохнул Александр Петрович и, тряхнув гривастой головой, усмехнулся с иронией: — Как это певали тогда? Эх, да были когда-то и мы рысаками... А собственно говоря, какое там. Пробыл отец весь век свой ломовой лошадыю. А я уже после Октябрьской Тимирязевку кончил... Только помню одних рысаков! Серых в яблоках. Сильных и тонконогих...

— Ну, поехало, покатило, — усмехнулся, крутнув рыжий ус, дед Еремей. — Любимое дело у него — рысаки... Это с виду он вроде сурьезный, а душа-то пуховая, кроличья. Ученый, заслуженный, книжек написано им самим целый стог, а палки острогать не может. Я за ним так всю жисть и смотрю, как перед Христом-богом ответственный. То сараишко поправлю, то вспашу огород.

— А чего строгал-то сейчас? — спросил Николай.

— Строгал-то? — замылся дед Еремей и перевел взгляд на своего подшефного. — Ну, ладно, — решил он. — Домовину попросил сгородить. Нехай себе сохнет до времени на потолке.

Было тихо. На кухне тикали ходики, в почерневшие окна начинал сыпать дождь.

— Ну, а как тебе-то живется? — спросил я деда Еремея, чтобы разбить неловкую тишину.

— Мне-то? Совхоз наш давно в люди вышел.

— А как сравнительно с той жизнью, при господах?

— И-и-и, — захихикал старик, — скажешь тоже...

Жисть тогда была не теперешняя. Зимой — в пеньковых чунях, по траве — босиком. На всю деревню у кулака Антона Ефимова одни сапоги. Вся Песковка в них пережилась. Женях до венца и с венца пройдет, про-

скрипит спиртовой подошвой, а потом разувается — и к Антону, а тот: отработаешь. Так-то... А сейчас у меня вон внучок растет, сколько обувок ему переменных. Девки, те вовсе спятили, друг перед другом по пять-шесть обувок... Да и работа прежде была чертячья. Отец мой холодный, то бишь неродной, сам встанет чуть свет и нас, ребятишек, на ноги. Ткнешься в телегу невыспанный, ровно со слепу, куренок, а он сзади тебя кнутовищем: не вздремывай! В поле робил, растягивался, как скаженный, до грызи, все думал лишний загон прикупить. И скуп же был дьявол: повесит окорок на печи, да ест все вприглядку, пока в нем черви не заведутся...

Между тем, я заметил, Николай сидел, как на гвоздях, словно прислушиваясь к тому, что вот-вот должно было произойти во дворе или в сенцах. За окном кто-то мелькнул. В комнату влетела девушка — востроглазая, в брючках, очень похожая на Александра Петровича. Кивнула всем, бросила на Николая выразительный взгляд, вертанулась у зеркала, улетела, хлопнув сенечной дверью. Старик долго, с любовью слушал, как каблучки затихают уже за калиткой.

— Внучка, — кивнул он мне и провел, довольный, ладонью по клиновидной бородке. — Коза, учится в сельхозинституте. Первый будет в нашем роду агроном...

Николай поднялся и вышел. У сиреней, я видел в окно, его уже ждали.

— Войны б только не было, — проводив его взглядом, вздохнул дед Еремей и полез в карман за кисетом. — Вон ведь сколько всяких чертей, понимать надо, плятятся на нашу землю... Был в войну тут у нас один примечательный случай. Дошел немец к осени и до нашей деревни. Понаехало на мотоциклах, бегают, суетятся, а потом успокоились, по насестам принялись шарить. Хоть уже и тогда в годах были мы с Александром Петровичем, а в скирдах с ним недельку пришлось поваляться. Кто их знает, что у них, у иродов, на уме? А потом думаю: да кто меня может убить — я вроде как заговоренный, коли за пазухой у меня икона, еще матерью дадепная? Явились домой. К Александру Петровичу сразу же комендант.

— Вы, — говорит, — навроде голубые кровя, не из мужиков.

— Ну, и что с того? — отвечает он.

— Будете помогать немецкой армии. Назначаем вас старостой.

А Александр Петрович сообразил, что сказать.

— Я впадаю, — говорит, — по четвергам в полудурье: страдаю педагрой.

— Вас издас, — спрашивает, — педагра?

— А это такая болезнь головы, когда за себя не ответчик...

Так от чина немецкого и отвертелся. В нашей деревне не нашлось холуя — привезли из соседней. Подошла весна — закопошилась немчура: землю обрабатывать надумали. Поставили над старостой своего офицера, со стекляшкой в глазу, вроде как управляющего. Лошадей понагнали, роздали люду.

— Вы есть, — говорит комендант, — русский мужик. Вы будете делать хлебушка для великой Германии. Вот вам, — показывает на офицера, — это... барин ваш. Слушай его и арбайтен.

Бабы в голос: как и не было, значит, у нас революции, опять мы вроде барские? С того дня на барщину, с барщины под автоматами. Работаем, а я все к офицеру приглядываюсь: где-то я его, окаянного, видел? Другие фашисты хоть слово по-русски, а этот все гыр-гыр да гыр-гыр, к нам только через переводчика.

Поехали с ним на Митино поле. Лошадь справная, брнчка вся на рессорах — не езда, а мечта. Прикатили. Глянули: рожь уже поднялась, выколосилась, стоит, родная, стеной, только ветер по ней серебром. Упал немец мой перед ней на колени, облапил, целует землю и плачет, а сам, слышу, вроде по-русски:

— Моя земля, мое поле...

Пригляделся я — и как будто бы стукнуло: мать честная, уж не Аграфенин сынок?! Я же видел его еще мальчиком, в гимназерской одежде, приезжал, говорили, барчук к Аграфене из Парижа иль там из Петербурга. И сейчас гляжу: он! Только в форме немецкой... Ох, как задрожало, заходило, понимать надо, в груди у меня, слова так и выпростались.

— Чего тебе тут, — говорю, — господни хороший? Не твое это — Митино поле.

— Ну ты, мужик! — поднялся с коленок он. — Какая у тебя на это есть правда? Моя земля, двести лет имела службу нашему роду.

А сам стекло сует в глаз, никак не попадет.

— Профинтил, — говорю, — ты, дядя, свою правду по заграницам. Тут, на бывшем Аграфенином поле, мы стали бок о бок, коммуной в первый раз сеяли. Тут я увидел себя человеком, хозяином. Здесь, понимать надо, давно наша, мужицкая правда... Это поле нам в памяти. Здесь Митя Крайнов потом проложил на «фордзоне» первую борозду. На «фордзоне» и сразила Митю кулацкая пуля. После войны мы памятник ему здесь до самого неба поставим...

— Дурак ты! — кричит Аграфенин сынок. — Был дурак, дураком и останешься. Куда тебе, дураку, без барина? Вести тебя, дурака, надо и просвещать. Тебе, мужику, еще тыщу лет нужен барин и царь. Куда тебе без царя?

— Сам, — говорю, — ты, анчибал, без царя в голове, коль мужика так дурачишь. Мужик, он все понимает. Ему с его вековой мужицкой прохвессией всю жисть видать, как с колокольни, кто на каком полозу едет. Вот, к примеру, тебе по всем статьям скоро капут, а земляца наша стояла и еще без тебя — нет ей слову — века простоит...

Как подскочит он, посерел да как заорет, затопчет да за кобуру. А она окажется, на счастье, пустой: пистолет в хате остался. Тут уж я-то одумался и с кнутом к нему.

— Паскуда, — говорю, — стеклоглазая. Чего пришел сюда, чего тут спонадобилось? Обходились и обойдемся. Под себя уже не подомнешь, ярмо прежнее не напялишь. Придет с нашими внук мой Ванюшка, и костье твое на распыл!

Эх, как скорчи он рожу да плюнь в меня, да по-пемецки. Ну, я взвился. И откуда взялось что! Он супротив меня мужик все же крупный, только я на него петухом, петухом, за грудки да кнутом.

— Ты кого, — говорю, — сюда приволок? Чей мундир, — говорю, — сволочь, напялил?

Споткнулся, упал он, лежит. И гадко же мне стало, сплюнул наземь я, хлестнул лошадь покрепче, чтобы пешком ему, дьяволу, до деревни, да и пошел себе прочь. С месячишко хоронился, как волк, в дальних кручах. После той моей профилактики супостат в деревню вернулся с сишей рожей. Тут же сгинул из Песковки, только

его и видали. Ну, а вскорости немцы начали драть. А как ржи поспевать — подоспели и наши. Хлебушек всей деревней отнесли Красной Армии. До самых Жирятинских складов...

Дед Еремей замолчал, отдыхая от слов, от волнения, от всего, что прошло снова перед глазами. Потянулся за кисетом, опять засмолил самокрутку, посмотрел на своего годка: тот дремал, положив голову в ладони.

— Слабоват стал, — заметил он сокрушенно, — огрузился рысак нашими байками. А ведь всего годика два как на пенсии. Вот оно как без делов. Все крутился, мотался, вывел хозяйство в передовые, ордена за так не дают... И детишки, внуки у него путевые — в техникумы, институт. Все, как пчелы.

Мы вышли из сенцев. Тучи висели лохматые, тяжкие, по деревне горели электрические огни.

— Н-ну, поздравь нас! — шагнул из-за сиреней и подхватил под мышки меня Николай. — Приглашаем тебя с Таней на свадьбу. Пока я здесь и Таня дома на практике. Верно, Танечка?

— Быстренько же вы договорились, — улыбнулся я.

— Мы пять лет договаривались, — смутилась Танечка и забеспокоилась: — Мне по делам надо...

Я прислонился к столбу. Под фонарем на проводах золотились шмелями дождевики. Сверкнули звезды на погонах у Николая. А где-то в ночи, должно быть, на Митином поле, трактора пахали под зябь.

Три дня бушевала пурга, забивала дороги, на четвертый подуспокоилась. Тогда и проскочил в Крепыши, дальнюю бригаду «Серпа и молота», выдавший виды «уазик». Люди спрыгнули наземь в демисезонных пальто и туфельках, похлопывая нога о ногу, гуськом потянулись в бригадный дом. Бригадир Карп Щепотин подпирал плечом угол, удивлялся десанту: надо же, прорвались.

— Принимай гостей, — нарочито громко сказал председатель «Серпа и молота» Вадим Еремеевич Клятный, присланный в прошлом месяце из района для укрепления. — Тут, понимаешь, такое дело... народ надо собрать. Товарищи вот приехали к нам, кой-чего, такое дело, скажут.

— И-и-и, — засмеялся бригадир в кулак беззвучно, одним только дыханием, и замотал головой, — у нас мигом никак невозможно.

— Организуй! — твердо сказал председатель. Товарищи специально и, заметь, такое дело, из области.

— У нас завсегда с двух-трех раз, — входя, еще с порога заговорил Поликарп Измоденов, бывший бригадир, отстраненный Клятным за превышение власти. — Здравствуйте, — поклонился он низко и сел поспешно на лавку: в ногах правды нет, подведут и сегодня.

Хотя Поликарп был отстраненным, но — по старой привычке — вмешивался в руководство. Да Карп Щепотин и не возражал, для пущей важности даже именовал Поликарпа «советом бригады». В народе, перекрестив маленько, звали бывшего Полукарпом, а обоих вместе Карп-Полукарп.

— Товарищи, — выступил вперед один из областных

гостей, седой уже, но еще хлыщеватый. — Мы, собственно говоря, обращаемся к вам за помощью. Здесь по соседству на хуторе... в колхозе «Прожектор»... несчастный случай: обварился ребенок, выплеснул на себя кипящее масло. Срочно требуется пересадка кожи, нужны доноры... это у кого кожу взять... а там в хуторе одни старики. Мы приехали к вам. Соберите село, скажите, мол, так и так, обварился...

— Господи! — всплеснула руками топившая дом бригады бабушка Даша. — Случай-то уже не в Лимовском ли?

— В Лимовском, — сказал неуверенно хлыщеватый и утвердил кивком. — В Лимовском, пожалуй.

Бабушка Даша толкнула от себя дверцу плиты и, не обратив внимания на просыпавшийся жар, метнулась к порогу. Карп-Полукарп встали, оглядели всех вместе и каждого врозь, надели треухи, вздохнули и двинулись к выходу. В комнате стало тихо. Перестал гулять парок у рта: то ли уже надышали, то ли начало действовать отопление. Углы прямо на глазах серели, таяли и потекли. Пурга закрыла половину оконца, в комнате было сумрачно, красноватый отсвет лежал на серебряных стенках.

Через полчаса стал сбиваться народ. Кто входил, запалившись: шутка ли, аж с другого края села. Кто не успел переодеться, прилетел, в чем ходил давать поросенку. Нецветайха — огромная, стопудовая женщина — как влетела, грохнулась на скамью, так скамья под ней и затрещала.

— Это Ванечка, внучек мой, там обварился, — закрыла она руками лицо. — Это Ванечка, Сдобнов Ванечка... Ой горюшко горькое! Ой, убили, свари-и-и-ли! Негодяй! Петька по дому не помогает, а Клаве хоть разорви-и-ись...

— Да не Сдобнов, не Сдобнов, гражданочка, — подошел к ней хлыщеватый. — Успокойтесь. Это и не в Лимовском.

Народ валил пачками, быстро расставили скамейки, выдвинули стол на середку расстилали кумач. Сидели все в заблуждении, бригадиры Карп-Полукарп ничего толком не объяснили. Один — нынешний — все помалкивает, опыту никак не нахватается, а у другого — бывшего — дюже этого опыту много, рот не запахивается, тоже ни черта не поймешь. Сидели, молчали — мышь слышна

в подполе, уперлись взглядом в своего председателя, а Клятый и сам непонятный какой-то. Лишь Витька Сермягин — бывалый парнишка, прошел кримины по всем ГЭСам и городам, а сейчас коштовался у бабки до лета — внушал вслух сомнения. «А где у них эти... белые халаты? И кресты на машине?» — «Витька, заткнись! — делал ему большие глаза бригадир. — Ты долго на нервах у людей будешь играть? Что же, тут с тебя шкуру драть? Отвезут, куда надо». Витька не знал, чем ответить, и потому вскоре стих.

— Не надо бы, — кивнул на кумач хлыщеватый, и тут его пригласили к столу. — Меня зовут Иона Ионыч Крестительский, — сказал он поспешно, — я возглавляю, э, эту вот группу... Итак, товарищи, вы все уже в курсе, объяснять не надо. И потому сразу быка, так сказать, за рога: кто хочет дать кожу на пересадку? Подумайте хорошенько и пройдите сюда, в этот угол...

Встали человек пять — всегда на все встают первые, народ подготовленный. Потом Витька Сермягин. После того еще человека три, в том числе Нецветаиха и бригадиры. Сделался шум, гам, все повскакивали и закричали:

— Пиши всех, пиши!

— Товарищи, тихо, — усмиряя ладонью, сделал шаг к передней скамейке Иона Ионыч. Стало тихо. Слышно было, как задувало в щелку между рамою и стеклом. — Так ведь это, товарищи, больно, болезненно... Представляете: взять кусок кожи с живота или с бока? Это же сколько потом в больнице лежать. Это шрамы навек, а если вот вас, дамочка, супруг возьмет да разлюбит?

— Ты вот навроде профессор, а в голове эти... фрагменты, — поднялась во весь неограниченный рост Нецветаиха. — Ты давай нас пиши, не сомневайся. А с мужьями как-нибудь сами справимся.

— Эт-та справится, — загудели в углу. — У эт-той не вырвешься.

— А теперь меня вот что интересует: мотивация, — обернулся Иона Ионыч к своим областным, те достали блокноты и что-то записывали. — Иными словами, граждане: по какой причине решаетесь вы на такой серьезный шаг? Во имя, конечно, самого прекрасного — спасения человека? Вот вы, например, гражданка...

— Нецветаева.

— Гражданка Нецветаева.

— А я бегу, — повернулась Нещветанха полубоком к народу, — а в глазах белые мухи так и сигают, так и сигают. Боже, думаю, неужто что с моим внучком, с Ванечкой? — повторила она уже гораздо спокойнее, губы сами собой перекинулись, глаза налились слезой.

— Ясно, садитесь, — остановил ее Иона Ионыч. Та села не очень довольная тем, что ее сбили со слова. — Ясно, родственные отношения... А вы? — выделил жестом он Селиверстову Зину — худую, нервную женщину с болезненным тонким лицом. — Вот вы почему? Вы ведь боли боитесь. Ведь резать будут, это ужасно больно.

— Боюсь, — едва слышно сказала Зина и задержала дыхание. — Палец порежу когда, сердце заходится... А тому ребенку-то разве не больно? У меня вон их трое по лавке, за любого дашь руку отсечь...

— На почве родственных отношений, — сделав ей знак садиться, кинул через плечо свите Иона Ионыч и повернулся к Карпу-Полукарпу: — А вы?

— Мы-то? — переглянулись они. — Мы — начальство, нам без того-этого, брат, нельзя. Нам реагировать следует.

— А вы? — указал Иона Ионыч на крупного, с окладистой бородой деда в углу, давно его заприметил. — Как вас зовут?

— Дед Петро первый, — зашумел народ.

— Да ну? — изумился Иона Ионыч, ему стало крайне интересно, даже смешно.

Оказывается, деда называли здесь первым, поскольку в Крепышах был еще дед Петро, немного дробнее. И хотя тот, второй, уже помер, этого, живущего, все называли по-прежнему первым.

— Ну вот вы, именно вы... первый... почему? — повторил вопрос Иона Ионыч.

— Я-то? — привстал дед Петро первый и посмотрел зачем-то себе под ноги, потом на коленки, на грудь. — Пришел, одно слово, и все, — махнул он рукой и сел. Потом встал опять и прищурился. — Это верно, кожа у меня уже старая, не подходит. Так ведь как оно рассудить. Н-но! — тут он вздернул, словно конь, головой, — когда-то были и мы я те дам. Мой дед — эвон люди сидят, со врать не дадут — служил у царя в лейб-гвардии. Пятак царский — с орлом и короной — пальцами слушит и ни

мур-мур. Под жеребца подсядет и встанет, а жеребец, как воротник у него, брык-брык...

— Ясно, — остановил деда Иона Ионыч. — Ты — старый солдат, боли ты не боишься.

— Хм, боишься, — усмехнулся дед Петро первый и повел головою вокруг. — Да у меня все и без того исполосовано, в дырках. Мы, братцы мои, от шрамов не бежали, грудью стояли. Между прочим, участник трех войн, семь раз ранетый, из них два тяжело, в последний раз фугасом под Понырями. А ничего, отремонтировали, — хлопнул дед себя по коленке. — Латан-перелатан, на мне, как на собаке... Я к тому, — подался он чуть вперед, к Ионе Ионычу, — что у меня хучь кожа и ношенная, да сносу ей нет. Если тому мальцу ее, — засмеялся дед Петро первый и сбил свой заячий малахай на затылок, — никакая тебе война, никакое ранение... Так что пиши меня в списочек, не ошибешься. Так и так, мол, от деда Петра, бывшего защитника, дитю тому — будущему, значит, защитнику...

— Короче, патриотизм, — оглянулся к своей свите Иона Ионыч, те, не поднимая глаз, строчили в блокнотах. — Патриотизм, товарищи! — голос Ионы Ионыча зазвенел благородным металлом. — Это великая вещь, движитель наших дней. Спасибо, товарищи, большое спасибо. Я лично другого от вас и не ожидал.

Дело подходило к концу. При последних словах областного представителя мысли у Витьки Сермягина взвились: «А как же я? Даже деда записали, а... меня?»

— А как же я? — поднялся растерянно Витька Сермягин. — Я ведь раньше, чем дед, в числе первых.

— Осади, доброволец, — усмехнулся дед. — Знай, дуби еще кожу-то, время твое придет.

— Так вот, мы все вами очень гордимся, — наконец связал Иона Ионыч обрывки мыслей. — А теперь остается сказать самое главное: кто это мы? — Здесь он сделал передышку и дернул галстук левой рукой. — Мы — это социологическая лаборатория, а я ее руководитель, доцент. Тут некоторые ошибались, называя меня профессором. Мы исследуем...

Навалилась тишина, даже дырка в окне перестала свистеть. Лишь дрова трещали — известно, осина дерет, что резина.

— Я ж говорил, — первым очухался Витька Сермя-

гин и во всеуслышание провозгласил: — Говорил, никакие они не врачи. Где у них эти... белые халаты и крест на машине?

Ближние тут же прижались к окну: в самом деле, нет креста на машине, нет и белых халатов. Социологическая лаборатория. Что хоть это такое? Семенная, молокоприемная, коноплеводческая...

— Мы, товарищи, — как на лекции, заиграл твердо поставленным голосом Иона Ионыч, — проводим исследование такого порядка: как наши люди реагируют на несчастье друг друга...

— Так где же тот мальчик-то? — перебил его дед Петро первый.

— А никакого мальчика нет, — вскинул брови Иона Ионыч и щелкнул пальцами. — Это, так сказать, миф, легенда, если хотите, сказка.

— Брехня, значит, — сказал дед сокрушенно и вздохнул едва слышно: — Сволочи, а?

Сразу же со всех скамеек взметнулись крики. Кричали все вместе и врозь.

— Бегу, а белые мухи мельтешат, прыгают, — выделялся голос Нецветайхи. — Ну, думаю, Ванечка, внучек мой, а это... исследование. Ишь, что на людях удумала эта лаборатория.

Напряжение спало. Сидели теперь, не стесняясь приезжих, вели меж собой разговор, тары-бары.

— Это у меня горло сейчас неправильное, труба заржавела, — оправдывался перед бригадирами дед Петро первый. — Как раз железки раздуло, а то бы как гаркнул, ссадил бы в момент.

— Сказал он, а мне как по глазу, сто огней засияло, — наклонялась, встревала в их разговор Селиверстова Зина, та, которая боялась всяческой боли.

— Мальчишка, говорит, это... маслом себя. Без аннексий и контрибуций, — через Зинкину голову доносил свою мысль бригадиру Карпу Полукарп отстраненный.

— Да, глаз у тебя слабоват, щелчком можно, — обращался к Селиверстовой дед Петро первый. — Ничего, если что, вставят теперь и стеклянный. Теперь медицина...

— Не знаю, что бы и отдала, здоровычко возвратить, — едва сдерживала себя Зина в слезливости. — Бактерия одолевает. Дают на медпункте таблетки, чтоб серд-

це не падало, да что там таблетки. А тут, говорят, врачи из города. Полмашины врачей. Я опрометью.

— Бактерия — да, особо когда больная, — кивал ей дед Петро первый. — А то, понимаешь ли, горло, труба заржавела. Есть, говорят, такой колодец — нарзан называется. Вставят трубку в него, и вода бузует себе. И мне бы так-то. А то теперь засипел, сбился с курса на целый месяц... А эти приехали, думают, мы тут ничего не соображаем, а мы тут тоже кой-чего в стратегии шпрехаем. Война эта по свету дала поблукать, кой-чего повидали.

— Витька! — перегнулся через скамейку назад Полукарп, тот, который был от всего отстранен. — Ты скажи ему, этому... в галстук... спроси, мол, что это за такое явление природы: в Казахстане, мол, мальчишка, гигант, три года, а уже пятьдесят кило. Как на это смотрит лаборатория?

— Сам спрашивай, — огрызнулся Витька Сермягин.

— Пятьдесят? — удивился дед Петро первый. — Прямо какой-то статуя.

— Выпил и сиди, — умирнял бригадир Полукарпа. — Скуло за скуло не заводи, дай людям спокойно уехать.

— Ах, боже ж мой, — вздыхал Полукарп от всего отстраненный. — Все-то учат нас, как пахать, когда сеять. У меня грудь болит за работу, пусть дают мне штатную.

— Ты потише, потише, — гладил его по плечу Карп, бригадир. — Не твори безобразия по нетрезвому состоянию. Сейчас это, знаешь сам, р-раз и под указ.

— Ладно, — соглашался Полукарп Измоденов. — Ты спроси у них лучше, куда они дели мальчонку.

— Какого, статуя?

— Ну того, обварили какого.

— Так его, говорят, вовсе и не было.

— Как не было? А обварили... Натворили делов, а с нас кожу драть? Не па-а-зволю.

Иона Ионыч стоял, потерявшись. Долетали обрывки фраз, целые фразы. Своя жизнь у них, свои интересы. Следовало более менее достойно выйти из этого положения, соблюсти вид хотя бы перед своими сотрудниками.

— Между прочим, в соседнем колхозе мы уже проводили все это, — откашлялся Иона Ионыч. — И ничего.

— Так это оглобли там не оказалось, — едва слышно подал кто-то голос из массы, но Иона Ионыч услышал. Кажется, тот вои парнишка, что тоже просил записать.

— Какой оглобли? — шевельнул машинально губами Иона Ионыч и понял, что глупо, не надо.

— А ну, Витьк, скажи ему, — порывался встать со скамьи Полукарп отстраненный, но Карп усаживал его, все урезонивал. — Покажи, Витьк, где раки зимуют.

Иона отвернулся от них, захлопнул блокнотик.

— Ну, хорошо. Вся программа исчерпана. Спасибо вам, дорогие товарищи, за ответы. Конечно, с ребенком не со всем все оказалось продумано. Вы тут нам кое-что подсказали, возможно, от этого хода следует отказаться. Однако вы дали нам яркий, разнообразный и весьма содержательный материал. Наш современник, как и предполагалось, оказался на высоте... Иными словами, товарищи, не побоюсь высокого «штиля», как это в песне: когда страна быть прикажет героем... Спасибо и до свиданья.

Было уж сумеречно. Народ расходился. По Крепышам, там и сям, в морозном воздухе слышались голоса. Последними выбирались из дома бригадиры Карп-Полукарп. Карп Щепотин поддеживал одной рукой отстраненного, другой вешал замок: «Все, ларчик этот для тебя больше открываться не будет». — «Карп, — хватал Полукарп воздух руками, — а где туалет? Был здесь. Вот что значит кругом изменения».

«Уазик» ждал Карпа Щепотина, не уезжал.

— Ты что с ним валандаешься? — хмурился председатель.

— Да он же пятнадцать лет был бригадиром, а я сколько? Подучивает, — ответил уклончиво Карп и предложил: — Может, ко мне заедем? Я жене уже стукнул, чтобы картошечку там, яишенку... Да я тут через два двора, можно и без машины.

— Ну нет уж, — подал звук с сиденья возле шофера Иона Ионыч. — Это все-таки техника, куда от нее? — И вспомнил при этом парнишку, сказавшего про оглоблю, передернул плечами.

Торопко закрипели шаги. Оказалось, жена Щепотина, Валентина. Подошла, покрасневшись, выделила из всех председателя:

— Вадим Еременч, прошу к нам. Уже все на столе. И вас прошу, дорогие гостечки, — обернулась она к областным и подмигнула Клятному: — И графинчик поставила.

Председатель смотрел в одну точку, покачал головою, вздохнул: нельзя, Валентина, завтра с утра на бюро. Иона Ионыч сказал тут же: а нам в соседний колхоз.

— Тоже с ребеночком? — не выдержала Валентина.

— С каким это?

— Ну какого вы возите... Правда иль нет, — двинулась она к Клятному. — Нюрка, соседка, тут прибежала, говорят, ребеночка где-то нашли, кто-то сжег. Грудного прямо, есть же такие изверги. Кожу ездют на него собирают.

Иона Ионыч, угнувшись, молчал.

— Будет тебе, сорока, — остановил жену Карп. — Растрещалась. Кожу им собирают. Собирают, — ухмыльнулся он, — и не на ребеночка, а на сапоги.

— На сапоги! — всплеснула Валентина руками и покосилась на него: — Не плети.

— Ну ты думаешь, что повторяешь? — стыдно стало Карпу за Валентину. — Это ж так только Гитлер мог: шкуру для сумочек драть с людей, как с крокодилов. И вообще, прекрати!

— Всегда так с женой, — поднялась Валентина обиженно. — То молчит месяцами, а то вот так, прекрати.

— Ладно, Валюша, — засмеялся председатель. — Ты баба еще в соку, я тебе мужика другого сосватаю — Измоденова Поликарпа.

— На черта он! — вспыхнула Валентина. — Этот хучь дело делает, да молчит, а тот... Мой-то лишнего не пропьет, а другого корить не хочу.

— Молодец, Валентина, — подмигнул председатель.

Ночь совсем загустела. За окном ни луны, ни звездочки. Тьма тьмущая, поля, перелески, стихия. И стоит у последней хаты с оглоблей тот парень, ничего себе, пряткий парнишка. У Ионы Ионыча даже засосало под ложечкой. Мотаешься вот так по командировкам, зарабатываешь себе язву, крутишь мозгами, выкручиваешься, ведь совсем-совсем новое дело, Москве даже небезынтересно, Москва заинтересована, вакансия у них даже имеется... А тут, вполне возможно, оглоблей, обидно...

— Бабам нашим жалко стало ребеночка-то, — вздохнул Карп. — Они у нас дюже жалостные. На той неделе у Нецветанхи крыльцо отгорело, так они все сбс-жалались, сотни три ей насобирали, моя тоже десятку снесла.

— Ехать надо, — толкнул шофера Иона Ионыч.

«Уазик» катил санным следом. И откуда он взялся, совсем свежий. Проезжали мимо бригадного дома, конюшни; словно вымерло, лишь разок бухнул о пол жеребец и отфыркнулся. Впереди между туч прокололась звезда. Или волк где-нибудь на холме? Или сигарета? Говорят, прошлой осенью завезли из Сибири и пустили по области волков.

## Двенадцать апостолов

Под 8 марта на Кондрата Сироткина свалился указ: его жене, Пелагее Артемовне, присвоили звание матери-героини. В районной газете «Звезда» прямо так и напечатали: мол, за рождение и за воспитание двенадцати детей для нужд Родины. Кондрат по этому поводу трахнул маленько и направился через дорогу к Спиридону Тимофеичу, дружку своему или неприятелю, это уж как понимать. Шел Кондрат, улыбался в предначертаниях того, как сразит сейчас Спиридона. Всю жизнь у них друг перед дружкой гонка. Спиридон из колхоза на железную дорогу, и Кондрат за ним. Спиридон Тимофеич уже кладовщиком, а Кондрат все в обходчиках. Затеял Кондрат избу с шиферным верхом, а Спиридон в пятистенник свой (позже начал) уже переехал. Но сегодня перед всей Белорецкой исторический факт: Пелагея — мать-героиня. Не фунт изюму: двенадцать душ, как двенадцать апостолов. Спиридону и крыть нечем...

Кондрат вошел, когда Спиридон Тимофеич как раз держал в руках райгазетку.

— Ну и как? — сверкнул одним очком ехидно Кондрат, другое уже как с полгода было зашито фанеркой. — По кинам теперь будешь бесплатно шататься?

Спиридон старается быть равнодушным:

— Хватай выше.

— А что ж тебя на племенную ферму, что ли, такого корявого? — смерил хозяин Кондрата презрительным взглядом.

Кондрат даже рот забыл запахнуть: да разве же дело в росте? Взял бы тогда жирафу. Дело, так сказать, в организме, внутренних органах. Он, Кондрат, двенадцать.

душ поднял для государства, а Спиридон чего? Только троих. Кто, выходит, лучше разбирается во всех этих нюансах? Спиридон, конечно, низвергнут, иначе бы так сразу не дешевил. Подумать только, — «корявый». Сам хорош: как взялся еще с войны офицерскую фуражку носить, так с той поры и носит. Захватал, засалил, даже моль не берет. Голова от фуражки как же тебе, поумнеет.

— Чаем меня теперь потчуй, — закидывает Кондрат ногу за ногу и вытягивает из кармана чекушку.

— Это за что ж тебя потчевать, а, Кондрат? — подаёт голос из сенец Спиридонова свояченица Агнесса. («Тьфу ты, черти б тебя, пустая бочка, язык об нее обломаешь»).

— А Пелагея Артемовна у меня теперь — ай не слышала? — мать-героиня. Вся страна знает, тебе одной неизвестно.

— Ну, Артемовна ладно, а тебе-то что?

— Она — героиня, а я тебе что был... в свидетелях?

— Их-их-их, — заклохотала, затряслась от смеха Агнесса, замотала рукой.

Пока Кондрат баял байки с Агнессой, Спиридон Тимофеич подготовил стаканчики, кое-какую закуску и выработал стратегический план.

— Кондрат! — сказал он торжественно и хлопнул по плечу гостя. Кондрат насторожился: всегда так торжествует, когда что-то промыслит. Но тут дело твердое, наградной указ. — Нам эту неделю работать бок о бок, бригадир заходил, просил подготовить к севу эту... семенную элиту. Так вот кто я тебе — друг или нет?

— Н-ну... д-друг, — замялся Кондрат.

Спиридон Тимофеич огляделся вокруг, для пущей осторожности не поленился, выскочил в сени, нет ли кого, и только потом наклонился, зашептал Кондрату на ухо:

— А ты уверен, что у тебя их одиннадцать?

— Двенадцать, — поправил его Кондрат.

— А ты посчитай, подбей бабки.

— Кондрат, Семен, Полина, Степан, Сергей, Николай первый, Николай второй, — загибал пальцы Кондрат.

— Э-эх, тут у тебя было затмение, имен тебе не хватило, — вставил своё Спиридон.

— Первый-то, думали, не жилец, а он выжил. Да ты не перебивай! — рассердился Кондрат. — Варвара, Эполёт...

— Ну и имя господь послал, как у жеребца.

— Не перебивай же! — взмолился Кондрат. — Ипполит... Антон...

Верно, выходило одиннадцать.

— Ну вот, — повернулся Спиридон Тимофеич к нему торжествующе. — Что я тебе говорил? Концы с концами не сводятся, дебит с кредитом. Она подает сведения на двенадцать, а по твоему счислению их одиннадцать. Это как, я скажу тебе, понимать?

Кондрат кинулся снова считать, снова вышло одиннадцать. Кондрата даже в жар бросило: нет, серьезно, почему же одиннадцать, даже в газете, надо верить, сообщается про двенадцать. А Спиридон смотрит в окно и ухмыляется.

— Может, это я... напутал чего? — говорит Кондрат в неуверенности. — Когда еще света не было, то есть электричества? Не так считал.

— Может, это Пелагея чего напутала, когда света не было, а? — смотрит с сочувствием Спиридон Тимофеич. — Может, ты отцом себя какому-нибудь одному не считаешь? Почему считать тогда у всех остальных? Эх, брат Кондрат... Да ты не горюй, ты крепись. Что ты лорд какой-нибудь английский? Что тебе, замки, миллиарды завещать детям? Небось, кроме этого вот задрипанного зипуна, ничего и не накопил.

— Чего ты? — снимает ногу с ноги Кондрат и запахируется покруче. — Ты троих поднимал, а я... я...

— Одиннадцать. Ведь одиннадцать? Одиннадцать. Ну еще посчитай. Хоть ты тресни, одиннадцать, — смеется теперь уже откровенно Спиридон Тимофеич. — Если, конечно, тебя считать за двенадцатого. Так она теперь и не упомнит, сколько раз тебя подымала. И в старинные, и в советские праздники. Тут ты первый. Тут без тебя не обойдется. Пелагеюшка руки пообрывала...

— Ты, Спиридон, помолчи, помолчи, — останавливает Кондрат супротивника. — Как это пообрывала? А я куда подевался? Такую ораву поставить. А вот ты только троих: Веньку, Катьку и Стеньку.

— Зато у меня качество, понял? — выставляет большой палец Спиридон Тимофеич. — Сколько из твоей братвы шлындает по свету, не знает, где притулиться? Там им не ндравится, тут не по вкусу. А мои все трое дошли

до ума и, между прочим, в почете. Стенька даже этот... адъюнкт.

— Что это такое ад... адъюнкт? — не сдерживается Кондрат.

— А черт-те знает, — говорит уже мягче Спиридон Тимофеич и надевает очки в золоченой оправе. — Ну, на генерала, что ль, учится. — И отставляет от себя райгазетку, целится в нее издали. — А ты, Кондрат, когда окно в очках вставишь?

— Да ладно тебе, окно!

— Да не ладно, а вставь. На тебя теперь люди будут глядеть, у тебя жена — героиня, — рассуждает Спиридон Тимофеич. — Вам таким, отчаюгам, только дай звание, мигом его приспособите. То по кинам начнете шлындать бесплатно, то в магазин с заднего отверстия. Нам таких, скажу тебе, Кондратий, не нужно. На таких мы и сами герои. Ты герой, когда впереди, на лихом коне...

— Начни еще про гражданскую, — пытается вырвать Кондрат упущенную инициативу. — Как ты ездил в обозе, портянки Чапаю крутил...

— Ну крутил, и что дальше? Что ты есмь, человек?

— А я тоже не зря жил, колхоз создавал. Вдвоем с Пелагеей создали... из двенадцати душ.

— Из одиннадцати. Сам же считал, из одиннадцати, — стоял на своем Спиридон Тимофеич.

— Ну, из одиннадцати, — сказал мрачно Кондрат и подумал о Пелагее: «Ну, стерва, приду домой, допытаюсь. Срамить меня перед всем Советским Союзом?»

— Ну, давай еще по одной за успехи? — тянется к шкапчику Спиридон Тимофеич.

— За какие... успехи? — еще больше мрачнеет Кондрат.

— А за всеобщие, — ловко подцепливает свинушок вилкой Спиридон Тимофеич. — В общем так, за твой с Пелагеей колхоз и... вообще за коллектив.

— Нет, я пью за себя, Спиридон, — откачнулся Кондрат. — У меня праздник, и я за себя. А за тебя не хочу...

Домой Кондрат пришел поздно. Повалил в сенцах ведро с водой, зацепился за половик. Сын с дочкой, последенькие, зашевелились в спальне.

— Ты што ошалел, леший? — вывела его Пелагея на кухню.

— Кто у меня двенадцатый? Кто? Перечисляй, — двигался на нее с кулаками Кондрат. — Перечисляй! Кто у меня двенадцать апостолов? Кто?

— Да ты што, ты што? — наклонялась она к нему, теплая, мягкая, только что из постели.

Ночевал он на сеновале. Жена растолкала его уже днем, стояла перед ним босая, простоволосая, с синяком ниже глаза. «Одурел на старости лет, с ума спятил?» Кондрат слушал ее, опустив голову: ломило виски. Перед глазами вдруг всплыло ехидное лицо Спиридона Тимофеича: «Что ты, лорд, что ли, английский? Что тебе, замки, миллиарды детям передавать?»

— Перечисляй! — мигом вскочил Кондрат на ноги. — А ну давай своди дебит с кредитом.

— Значит, так, — начала Пелагея, — Кондрат, Семен, Полнна, Степан, Сергей, Коля первый, Коля второй...

— Варвара, Эполёт...

— Ипполит, Настюша...

— Какая Настюша? — уставился Кондрат в Пелагею.

— А та, что после Ипполита. Ты разве ее не считаешь?.. С поезда сняли тогда в чем душа была. Досталось ей, бедненькой, там, в Ленинграде, в блокаду... Ну и что ж что не кровное? А ведь наше дите, наша Настюшка?

— Наша, — согласился Кондрат. — Верно, наша, мать, наша! — схватился он за голову и аж заплясал.

Остановился и погрозил в дверь: «Ну, Спиридон Тимофеич, ненавистник людской, ну, злодеюга! Опять обкалал. Я тебе покажу, как обижать матерей-героинь. Как обзывать человека каким-нибудь английским лордом».

Вихрастый, с черным от загара лицом паренек, по прозвищу Сталовеер, пристроился в тени размашистого клена, сидит, клюет носом. Он привез на станцию последнее зерно в счет перевыполнения, а «холостяком» отсюда схать не хочется. Сойдут свои с электрички, чего не подбросить городского односельчанина до самой Упаловой? Пусть знают Пимена Строева: доставит, кому куда надо.

Вечер сбавляет жару. Пимен волнуется: не успеет к получке, сорвется мероприятие. Он подходит к ларьку напротив, пьет кружку-другую прохладного «Жигулевского» пива. Подходит к «лайбе» своей, прикладывается к горячей кабине щекой, чует в струящемся воздухе запах бензина и еще свежей нитрокраски на вмятинах, успокаивается, снова садится в тень клена.

Клен, он есть клен, эвон сколько их тут, и все от кочетков. И до чего же приемчатые, почище ракиты, зато квелые — просто беда, ни на бочку, ни на постройку не идут. А Пимену пора подумать о собственной хате. Назвался муж, не говори, что не дюж. Валюшка уже начинает подходы, враздробь ей надо с маманей...

— Сталовеер! — отвлекает его от мыслей чей-то бабий занозистый голос. — А мне сказали, мол, Сталовеер тут на станции. А я как кинулась бечь, бегу-бегу во-он откуда, а сердце аж в пятки бросается — ну уедет, ну не успею. А сейчас в глазах одуванчики так и текут, так и прыгают.

Это Матвейха с Даниловских выселков — такая базарная тетка, только бы ей по базарам и бегать. Сталовеер... что у него ни имени, ни фамилии? Пузо распустила, шагу ступить не может — вот одуванчики и распрыгались...

— Ладно, садись. С племянником твоим, с Витькой, спасибо скажи, в классах вместе учились...

— Вы как с Валюшкой сошлись — расписались али так, под ей-богу? — присаживается рядышком, налегает на плечо ему Витькина тетка и кладет рядом мешок с поросятами — мешок прыгает, поросята визжат, заходятся, хрюкают.

— Отстань-ка ты, тетк,— сердится Сталовер, встает и отходит.

— Да ты что, любый-ясный? — суется тетка со смятой рублевкой.— Да мы же свои, упаловские.

— Ладно, сиди,— отмахивается от нее Сталовер.— Чай, не нищи, денег не тыщи, но и куска не ищем.

— Будет тебе,— подхихикивает, трясет подбородком Матвейха и просится в кабину: так-то спокойнее, застолбила местечко.

А электрички все нет. Чтобы не томно было, Пимен еще пропускает пивка. Вот, наконец, и электричка. Из вагонов все кидаются в выстроенные у панели автобусы, к Пименовой «лайбе» подходит только один — косорукий учитель, присланный недавно в Упалово преподавать математику.

— Можно к вам, Сталоверов? — подходит он робко.

— Само собой,— кивает радостно Пимен на кузов и, сбив лихо фуражку, рывком дергает дверцу да вместе с дверцей так и валится наземь спиной.

Дорога начинается сразу же с тряски. Сколько хватает глаза, дорога уходит в степь красновато-песчаными, серо-землистыми холмиками. Прожаренно, густо с полотна дороги шибает смолой.

— И ремонтируют, и ремонтируют,— подает голос Витькина тетка.— Сухой асфальт этот... Сколько денег легло, червонцами бы устелить можно.

— Это уж факт,— улыбается Пимен.— Сегодня проедешь, а завтра задок на капиталку.

— Как с Валюшкой-то живешь, ничего? — придвигает к нему свое пышное, жаркое тело Матвейха.— Ничего, пока месяц медовый, а потом как начнешь по затылку небось колыхать.

— А чего же, молиться?

— Во-во, заговорил, запел батюшка-кадило,— отодвигается тетка.— Все вы, ироды, такие-то.

— Да это я так говорю.

— А нешто за деньги.

В этот момент Пименову «лайбу» трянуло, тетка ойкнула и побледнела.

— Как в погреб ухнул,— стрельнула она из-под платка.— Смотри, Сталоввер, да присматривайся.

— И так, как в телевизор,— огрызнулся Пимен и глянул через плечо: что там делается в кузове?

А делалось там нечто необыкновенное. Раздвинув ноги, математик гонялся единственной своей рукой за какими-то бумажками. Пимен оторопел: тройки, пятерки, червонцы. Вихрь гонял ассигнации по полу, свивал-перевивал между пальцами, косорукий наклонялся, тужился, бурел от натуги, а пол ускользал, прыгал. «И откуда столько-то? — пронзило Пимена, в голове проскочило множество предположений: — Дом продал? Кого грабанул? Кассу взял, например, сберегательную, как кто-то в позапрошлом году в Белозеровой... Да с одной-то клешней?» Пимен снова метнул взгляд назад в оконце, «лайбу» трянуло, косорукий хватнул рукой воздух, чуть ли не вылетел вон, но, изловчившись, тут же поймал трояк с лету и с лету же сунул в карман. «Во циркач,— оценил обстановку Пимен.— А что остается: жизнь или кошелек? Жадный, однако, до денег»...

— Деньги-то как летают, а? — весело качнул он затылком Матвейхе.— Летают червонцы, тетк, шансы-пансы, елки-моталки.

После очередного толчка Матвейха обалдела, сидела мертвая, держась за мешок с поросятами.

— Время такое... летают,— отходила она постепенно и заерзала, подтвердила не без подхалимства.— Деньги тебе что воробьи: получать большие, тратить ма-аленькии... Говорят же девке, ищи мужика попокладистей да поокладистей.

— Я тебе про Фому, а ты про кого? — с досады Пимен так трянуло «лайбу», что у тетки вякнула нижняя челюсть.

— Анчибал рыжий! — взмолилась Матвейха.— Рассадишь всю эту... плетуху-то. И правда, завтрачка на ремонт.

И Пимен заговорил, прорвало его. Недавно, когда припоздал к комбайну и с него, сказали, снимут дополнительную оплату, он смолчал. Смолчал, и когда надо было ответить механику, что график — это, между прочим, и

запчасти, это и техника, елки-моталки, а не склепки-заклепки. Взяли моду замазывать зубы этой вот «лайбой». Как кто после курсов, так за нее сажают. А на ней и черт не уездит, и шоферу со стажем не хлеб. Станет, пымык, ни с места, хоть плачь. А завгар еще: «Вот молодцы-зеленцы, ездить ни хрена не умеют». Больно умный! А ты дай ей ремонт, дай, какие надо, запчасти...

— Шлындаете по базарам, деньги клешнями гребете, шпекулянты! — заговорил, наконец, Пимен, стараясь выплеснуть на Матвейху всю свою горечь. — А на свеклу тебя не загонишь, у тебя мочей нетути. А мясо, яблоки, сало возить в город есть?

— Рабочий класс прикармливаем, — слабо оправдывалась Матвейха и вдруг перешла в наступление: — Учитель этот... пассажир... тоже развел свиноферму, на «Жигули» собирает. Ему, значит, можно на «Жигулях» раскатывать, а мне, значит, нельзя-я? Я таковская, я земляная, из грязи не вылажу?

— Лучше бы твой косорукий больше углядывал за детишками, — обрезал ее Пимен. — А то опять в институте завалились в этом году по математике... А дочек небось как агроном, в городе держит у бабки, в городской школе. А сам тут колобанит на свиньях. За такие дела, по истории помнится, отсекали правую руку... Нехай себе полетают по кузову эти... шансы-пенсы, воробьи, как говоришь, с крылышками.

И Сталовец поставил босую ногу на акселератор — «лайба» вспрыгнула на песчаную бровку и понесла.

— Эй-эй-эй! — доносилось из кузова. — Притормози-и! Пррритормози-и-и!..

— Притормози, — заглядывала через плечо в оконце Матвейха и хваталась за ручку. — Бога ради... притормози...

— Деньги с крылышками, воробьи? — нашло на Сталовеца. — Как прилетели, так нехай и улетают.

Он приоткрыл дверцу, стал ногой на подножку и, почти выпершись наружу и держась левой за баранку, крикнул весело в кузов:

— Эй, на палубе! Жизнь или кошелек?

«Лайбу» в этот момент трянуло, и Сталовец мигом нырнул в кабину.

Он пролетел по Упаловой, миновал тихо мостик, вовсе сбросив газ, подъехал к самой школе. И тут... лучше бы

не видеть... Пимен увидел, как учитель выбирался из кузова. Сталовер хотел подставить плечо, но косорукий, оттолкнув его, плюхнулся прямо в пыль. Уходил учитель в дверь, не отряхиваясь.

Сталовер потоптался на месте, повел взгляд по серовато-шершавым стволам — сам сажал еще, помнится, в пятом. Ишь, подтянулись, приемчатые, почище ракиты. Зато квелые, не годятся ни на какую постройку...

На последнее мероприятие Пимен все же успел. Зарплату ему выдавали под цвет глаз — зелененькими.

— За твои трояки, за наше здоровье,— принимала его в свою братию шоферня.

Тут же на травке с ними сидел и кассир Тимофеич — не мужик уже, но еще и не старик. Так, посередке. Шутили, что деньги из банка он привозит — для строгой секретности — в плечиках пиджака.

— А сейфик на что? — отсмеивался Тимофеич. — У нас контора не то, что школа или кинопрокат. Возят зарплату из банка в карманах. Директор в отпуске, так косорукий вместо него...

Пимен больше не слышал Тимофеича, что-то стукнуло ему в голову, он вскочил и кинулся к «лайбе». Мчался по дороге на Выселки. Витькина тетка все еще шла. Он поравнял с ней машину, ехал под ее шаг.

— Ты чего это про косорукого плела? — приоткрыв дверцу, сверкнул он глазами.

— Пимочка, милый, да про кого ж это? — запричитала Матвейха.

— Про учителя.

Поняв по выражению лица Сталовера, что подъехать ей все равно не удастся, тетка вспыхнула и гаркнула во все горло:

— Идол, двоечник, мститель неуловимый! На окурках в классах тянулся, а теперь мстит. Надо было учиться. Витька мой скоро уже инженер, а ты все хулиганишь...

Пимен оторопел: ай сдурела эта Матвейха? Ишь, заехала куда. Лупит вон как, промеж глаз.

Он не заметил, что «лайба» остановилась. А Матвейха все уходила, уходила вперед. Руки его лежали на баранке и уже не чувствовали от нее приятной прохлады, не было в сердце той радости, той остроты, какую пережил он сегодня утром, принимая у механика технику.

Сидел и смотрел тетке вслед. Да чем он хуже Витьки.

то, чем? Пошоферит, поедит на этой старушке — дадут потом новую. Да что ему Матвейхин Витька? Квартира у Витьки в городе и «Жигули»? И у него будет квартира, на центральной усадьбе строится дом. А в город ему и не надо. Он свое место знает. Грудь — наковальню ставь да молотом грохай — не прохудится. А у Витьки от чертежей да бессонных ночей штаны уже соскочили. Так что трепаться трепись, тетк, да не заговаривайся. Это тебя, млякина, плохо в школе учили: забыла о роли рабочего класса. Загорать бы тебе под солнцем на станции со своей свинофермой в обнимку, если бы не эта вот «лайба». Сколько еще покрутить баранку придется, все только начинается.

Вспомнил про косорукого учителя, сконфуженно крутанул головой: «Надо же так получиться. Как теперь глянешь в глаза человеку?»

## Дарьюшка — последняя из хуторян

### I

История этого хутора началась, очевидно, с названия, когда какой-нибудь марсофлотец, которых издавна поставляло на корабли здешнее средиземье, завез степнякам необычные, такие красивые и волнующие слова — Мыс Доброй Надежды. История завершалась уже теперь, когда на хуторе осталось одно строенье — Дарьюшкина хатенка с единственно живой душой — самой бабушкой Дарьей. Остальные вымерли, съехали, растворились. С прошлого лета, когда в Бузулук, на центральную усадьбу, перебрались и Сивачевы, Шевардина Дарья осталась одна. Куры с петухом да воробьи, да мыши, да хорек треклятый где-то в Козлихином погребе — вот и вся наличная живность на хуторе. В одно время с курами Дарьюшка ложится, в одно время с курами и подымается. Маленькая, лицом с кулачок, в последний год еще больше усохла, тело так и подшилось. Ничего, помирать — меньше груза, меньше будет хлопот.

Сын зовет ее в город, а чего она там потеряла, на этажах-то? Душу по земным кружалам измаешь, плечи о стенки пообобьешь. Век в деревне жила, век туда-сюда, как челнок, а там лечь колодой и в потолок носом? Крутится перед ней Алексей, уговаривает — мать же, и от людей стыдно, и самому какво? Хоть бы остаток дней пожила, как у Христа за пазухой. Ни воды тебе не носить, ни печь не топить — однокомнатная квартира, но со всеми удобствами. Ни внуков не нянчить, ни с кем-либо делить в доме женскую власть — нет у Алексея семьи, все пока холостякует, Это и расширяет Дарьюшку.

Вот и сегодня приехал Алексей на выходной. Умылся с дороги, надел чистую рубаху, сидит и пьет чай в красном углу — светлоголовый, большегрудый, их, шевардинской породы, вылитый Венедикт Алексеевич. Дарьюшка загляделась на него и сомлела. Косой луч упал ему на переносицу, высветил серые с зеленым крапом глаза. Ишь, сидит и не смотрит сюда, на нее. Чует, и она ему слов припасла. Известно о чем: о внуках. Тогда бы, может, и сдвинула туда к нему старые кости. Для нее он — луч ясный, соколик крылатый, да какая же от такого откажется? Не знает мать, что в последнее время мучить стали его всякие думки, что начал он женщин бояться, развился, что ли, дурацкий комплекс? Иные из друзей заходят в квартиру и прямо с порога:

— Чтой-то у тебя, Алексей, чересчур дух мужской? Засиделся, брат, в девках. Придется женить по повестке, через военкомат.

Что таким скажешь? Нечего с ним равняться. Ему как-никак уж за сорок. Попробуй найди в таком возрасте пару. Какую-либо разведенку не хочется, еще психопаткой окажется, а незамужних много ли, всех разобрали. Так вот она и проходит, жизнь. После института приехал сюда влюбленным, думал век любить Клавочку, ждал, когда закончит она институт, а та р-раз, и за летчика. Так-то. И он, Алексей, потерял уверенность в себе, в своих силах-возможностях. Ему стало казаться, что другие чем-то лучше его: тот красивее, этот талантливее, третий щедрее душой. И он уж не жил, как когда-то спокойно наступал на горло себе, отказывал даже во взгляде на женщин. Оставалась работа, и он сделался отличным работником, главным агрономом районного управления. Но этого было слишком мало для жизни, и тогда он принялся собирать книги, создал приличную библиотеку, подобной в районе нет, пожалуй, ни у кого. А жизнь пролетала. По пути в магазин он иной раз делал крюк, проходил медленно мимо детского сада...

Под вечер во двор к Шевардиным навевывается мужик из соседней деревни — Фадеич. Как всегда, зимой — летом в валенках и с бутылкой. Заступ в свежей земле он оставляет за дверью, проходит в хату, суетливо ставит «Экстру» на стол, приглашает жестом Дарьюшку и Алексея.

— Ты бы руки помыл, — смотрит Дарьюшка прямо

перед собой и вздыхает.— Кого господь еще нынче прибрал?

— Булгактеру... этому... Жилкину копал,— морщит пористое, в синих точках, лицо Фадеич.— Говорил ему, адивоту, поступишь ко мне, не обойдешь. Потому у меня у единственного тут такая, того-этого, пропускная способность.

— За что же ты на него серчаешь, а, Фадеич? — подходит к нему Алексей.

— Он на меня года три тому эптимию наложил. Оштрафовал. Мешки рваные, мол, принес, не колхозные.

— А что, нешто колхозные? — шевелит Дарьюшка тонкими, сухими губами.

— Не колхозные,— соглашается Фадеич и вдруг багровеет, синие точки на лице делаются незаметными.— А пришли ко мне, не к кому-нибудь: Фадеич, выкопай, Фадеич, уважь... того-этого... Фадеич теперь дорогой. Да я за свою жизнь сколько позакопал, а? Сколько, Дарьюшка, всяких, а? Этих... как их... булгактеров, председателей, инженеров, даже один полковник попался. Сладко ели, командирами были, а все туда, у меня, того-этого, равноправие, у меня, брат, не вырвешься...

— И лизать, и лизать, Фадеич, тебе сковородку,— смотрит Дарьюшка на него, не мигая.

Фадеич наливает в жестяную кружку, крикает, обтирает губы рукой. Показывает Алексею: не надо? Ну и не надо.

— А сколько этой вот... дуры за них всех тут попито — и-и-и! А теперь ослаб, Дарьюшка, ослаб, — улыбается Фадеич жалостливо, глазенки его начинают слезиться.— Скоро и мне туда, того-этого,— он проводит рукой по горлу и вдруг меняет тон:— Это какие же, Дарьюшка, мне сковородки лизать?

— Какие! Огневые, какие в аду. И лижи, и лижи за трепню свою.

— Ладно тебе, бесхозная бабка,— поднимается Фадеич и ищет заступ, который оставил наружи.— Не была бы Дарьюшкой, я бы тебя сейчас тут перекрестил.

— Не завались где-нить,— говорит вслед ему Дарьюшка,— а то кто булгактера будет в землю внедрять?.. Это ж надо — под «козырной» помереть! Люди завтра придут родителей поминать, а он помер. Ох-ох-ох,— за-

крутила она сухонькой головкой, перегнулась в поясице и засемила через ложок.

Алексей знал, куда и зачем: на погост, еще раз пройти поправить могилки. Всегда так, особенно перед «козырными», родительскими. Взяла на себя эту долю приглядывать за Шевардинским кладбищем. Кладбище, что ж, историческое. Церковь была здесь когда-то, Мыс Доброй Надежды с селом Шевардино стояли впритык. Церкви не стало еще после революции, села сразу же после войны, а кладбищу что? С окрестных деревень и несут, и несут, привозят даже из Бузулука. Надеждинские, бывало, присматривали, чтобы корова не зашла или какой «анчихрист» не заехал на тракторе — родители ведь лежат, поколения. А с тех дней, как осталась здесь одна Дарюшка, она и доглядывает.

Алексей берет в руки плетушку, надо отвести душеньку — пройтись по знакомым местам, по логам да корчагам, проверить опят. Теперь так: грибы держатся три-четыре дня, на захват. Проморгал напор — все. И ведь не живут грибники здесь, а что значит техника: продерись гриб — мигом наскочат на автобусах, автомашинах.

Он идет первым делом на Красную куртину — так назвал он эту полянку с южным уклоном среди красноствольного сосняка. Тут особая влага, теплынь — микроклимат, грибу самая благодать. Первый гриб появляется здесь; если уж тут нет, то нигде не ищи — это точно. Алексей наступает на перезревшую пышку, под ногой пыхает желтый дымок, споры окрашивают нос ботинка. Попадается пара сморщенных, ссохлых грибов — поддубешник, маслята. Нет, еще не сезон. Алексей прямьем — кружно, по скошенным клеверам, мимо черной горбатой скирды, держит путь на погост. Прицелившись издали, проникает с другого прохода, между раkitой и грузным, истресканным камнем. Здесь уютно, неветрено, отава по свободным местам не буйна, свисает космами с застарелых холмов. Кое-где сметано в кучки сено — Фаденчева работа, его первый укос. И ограды, оградки, просто насыпи. Деревянные кресты под рушниками, жестяные звезды. Кто с фамилией, кто уже бесфамильно. Где-то тут его два старших брата, отец, отец отца, пращурь. До седых, беспредельных веков...

Уже с утра на кладбище стал собираться народ. Подъ-

езжали на бортовых машинах, на личных «Жигулях», даже на велосипедах. Ставили технику под уцелевшие яблони, по вишнякам да сиреням. Забегали к Дарьюшке за ведром да за кружкой, за лопатой да за молотком. Кучковались — медведевские, черемшанские, гуторовские. Вытаскивали захваченное с собой, рассаживались прямо по клеверам.

Алексей забился в хатенку с книжкой. С черемшанскими, сказали, должна быть сегодня и Клавдия. Читать не читалось, думать не думалось, лезла в голову всякая ересь.

К полудню автобус подвез из города кой-кого из надеждинских, подходили с центральной усадьбы. И все сюда к Дарьюшке, на жилое, куда же еще? И с такой радостью встречали все друг друга и каждого, с такой искренностью смеялись и обнимались, что не выдержал Алексей, бросил книжку и вышел во двор. Вот ведь штука какая: Козлиха, бывало, секлась с соседкой Марьей Стефеевной, ну одна одну на спички подрали бы, а теперь так и нет подруг задушевней, сидят, рады, никак не наговорятся.

Ну, пошли, побывали на погосте, помянули. Ну, всплакнули, ясное дело, по родителям, близким, человека слезами не возвратишь. А как двинули хутором да как увидели свой Мыс Доброй Надежды, так душа у всех и рассолодела: погребов пустые глазищи, задичалое вишенье, двухсаженная лебеда. Козлиха возле своей усадьбы и вовсе в голос:

— Ой да окнушки, бывало, отволоку, томлюсь на солнышке, Петечку — молодно, кудрявно — поджидаю... Ой да здесь родила всех троих, отца-матерь похоронила... Ой да что же нас всех засуетило, разбросало, горьких, по белу светушку...

— Ладно тебе, отпевать, — остановила Козлиху Марья Стефеевна и кашлянула внушительно, укрыла губы ладонью. — Никто не гнал, сама небось разогналась.

— Сама, — перекривилась Козлиха. — Живу тама, а душа, она туточки. — И наклонилась, подняла кусок шифера, подержала в руке.

Алексей почувствовал, как и ему вместе с Козлихой стало трудно дышать.

Вернулись во двор к Дарьюшке, перед хатой, прямо

на бывшей дороге, расстелили скатерти, спроворили «общий котел». Сели рядком да ладком, на травку-гусятничек. Помянули. Добавили, чтобы дольше жилось, и за новую жизнь. Дарьюшку дергали справа и слева, все спрашивали, кто бывал здесь да кто где устроился: «Ты теперь тут у нас за часового, кто ни пройдет, ни проедет — к тебе. Как он, наш Мыс Доброй Надежды, приживается в людях? А ничего приживается, не хуже других».

— Скоро, говорят, посрубят последние яблонн, — объясняла Козлиха, — распашут землю, станет здесь голое поле. И тогда ищи-свищи место, только в пачпорте и останется, что родилась ты, Марья Стефеевна, в Мысе Доброй Надежды, а самого Мыса уж нет. И буду я приезжать с центральной овец сеять, где была моя хата...

— А ты как бы хотела, землю забросить? — возвышала голос Марья Стефеевна, чтобы слышали все. — Вот я сейчас работаю в швейной, так у нас экономия, каждый клочок на учете. А тут — земля. Да за нее государства сражаются, люди миллионами гибнут. И чтоб так ее — р-раз и на ветер? Земля нам дорогá. Из нее мы вышли, и в нее мы уйдем.

Алексей наклонился к матери: по его мнению, для решительного разговора был самый момент. Ну чего она сторожем в этом поселке, как котенок брошенный, «бесхозная бабка»? А ну заболей — воды подать некому. А ну бездорожье — сиди без куска хлеба.

— А-а-а, — смеется Дарьюшка, ей сегодня так хорошо, — ты вон о чем, сынок. А мне много ли надо? Лишь бы тлелось. Слыхал, что говорят о земле? Куда ж я от нее? Туточки и помру.

Провезли и затем пронесли на погост бухгалтера Жилкина. Все затихли, Дарьюшка махнула перстами вслед: прими его, земля-мать. Тут же забыли про Жилкина, разговор опять хлынул и заветвился, то набирая силу, то умиряясь, но Алексей уже не вникал в него. Там, через ложок, начиналось движение, раздалось голоса, кто-то даже дал песняка «Распрягайте, хлопцы, коней», ему подтянули, их дружно одернули. Белое платье мелькнуло за кривой расщепленной ракитой, скрылось за лебедой: она, Клавдия. Это она. Алексей поднялся, передернул плечами.

— Холодно? — встрепенулась Дарьюшка.

— Холодно, на ком одно,— затрещала Козлиха.— А на нас двое и то худое.

— Ты как скажешь, в тулуп не влезет,— усмехнулась Дарьюшка и вдруг натянулась вся и смотрела вслед сыну, шевелила бумажными, высохшими губами: «Жена — не пряник, а ржаной ломоть... а ржаной ломоть...»

Женщина в белом вышла из лебеды и закрыла дорогу.

Та же темно-русая челка на левую бровь, тот же молниеносный взгляд из-под челки. Но в глазах уже нет того блеска, лицо покрупнело, сделалось пористее, рыхлее — что ж, годы. И все же это была она, Клавдия. Смотрела на него, как ему показалось, откровенно, ничего не скрывая.

— Вот и встретились, Алексей,— сказала она и улыбнулась, натянула на живот полы кримпленового с серебряной ниткой жакета. Но — странное дело — улыбка эта уже не вызвала в нем прежних чувств. Ну что она скажет ему? Что несчастлива с мужем, что его списали из авиации и он теперь не летает, работает в аэродромной службе? Что порой напивается, кроет ее по чем зря, все упрекает за что-то? Да, жизнь для нее повернулась не той стороной... Как могут, однако, женщины, почему-то предпочтя одного, сожалеть потом о другом...

— Ну вот и встретились, а поговорить-то и не о чем, а, Алексей? — потянула она с плеч косынку.

— Наш хутор исчез, растворился,— смотрел он на закат: солнце садилось в тучку.

Розовел сырой плотный воздух, поверхность раки и крапивник у придорожья, красноватее сделался клевер отавный, успевший уже раскуститься, обволокнувшись листом. На скатерти, на бутылки, на волосы людям начинал садиться туман, голоса настужались и глохли. Кто-то запалил костерок, дым протянуло в небо. Совсем как в детстве. Не хватало мычания телят, лошадей в ночном, запаха молока. Алексей смежил веки и перед ним во всех своих мелких подробностях возник прежний хутор...

Мимо, он уже был хорош, проезжал на телеге Фадееч.

— У, каналья! — замахнулся он на кобылу. — Бул-гактера возила, а нас возить брезгуешь?

На дороге урчали машины, бывшие хуторяне и разносельчане разъезжались по своим новым обителям.

— Ну, мне пора, — повернулась лицом к нему Клавдия.

## II

На зазимок Дарьюшка шла с ведром, оскользнулась, так и расселась, едва дотащилась до сенец. С того и вступило в грудь, поясницу и ноги, держит — не отпускает. Взяла на днях курочку щупать, та вздернула крыльями, Дарьюшку в сторону так и поволокло. Да по правде сказать, зажилась в гостях, пора и домой собираться.

Лежит Дарьюшка обострившимся носом вверх, смотрит, как по потолку мухи ходят, не падают, и нет уже сил ничему удивиться. Нет сил подняться, сходить в магазин на центральную. Люди добрые, спасибо, не забывают. Кладбище наведывают и ей, Дарьюшке, принесут — пряник ли, яичко, кусок ли какой. А много ей надо? Отщипнет хлебца и на язык, трет-трет языком, пока не истает.

Недавно в окошко влетела синичка, завертела хвостом, к ночи снег навертела. Три дня ломил, да так лихо, обвально. Пошла утром к колодчику, а там синичка, как вроде та самая, сидит на раките да голоском этак жалостно, тоже, видать, оттуда поилась. Алексея теперь и не жди — бездорожье... Помирать надо, а неохота. Помри — пролежишь тут колодой, пока не исторгнешься смрадом.

В полдень к погосту пробили дорогу бульдозером, заходил Фадеич — «пропускная способность». А к вечеру под окнами загредел самосвал, Алексей влетел в хату, свежий с морозцу, разгоряченный, в момент оценил обстановку, сгреб Дарьюшку вместе со стеганым одеялом и — в дверь. Сидя между шофером и сыном, она колтыхалась по зимнику, и млела у нее грудь от тепла, от прихлынувших мыслей.

Алексей жил в самом центре Дороскова. В комнате у него было сухо, светло; ничего, да только земля далеко. В первое время она окрепала, утверждалась ногами, вроде чище стала с лица, ей понравилась ванна, и она частенько грела в ней старые кости. Зато газ невзлюбила: голова болит и включать страшно.

Нагонявшись по колхозам, в хлопотах, как в репьях, Алексей возвращался теперь пораньше.

А зима сходила на нет. Солнце все рьяней прижигало снега, укрупняло сосульки, в форточку било запахом талой земли. Под окно повадилась щебетуха-синичка, Дарьюшка бросала ей на дощечку хлебных крошек и сала, смотрела на нее, вертихвостку, и делалась все смурней, молчаливей, дня три и вовсе молчала, на четвертый свалилась и уже не поднялась. Приехавший со «скорой помощью» старичок доктор Филиппов объяснил причину: «Двусторонняя пневмония». «Где ж она тут могла простудиться?» — сокрушался Алексей. «А это, молодой человек, не обязательно, — собирал доктор свой чемоданчик. — В таком возрасте пневмония возникает и от неподвижного образа жизни. Легкие, фигурально говоря, слеживаются».

Дарьюшка стонала, металась, прогоняла Фадеича. При закате прояснилась, осветлела. Ей стало легко, так легко, будто вовсе истаяло тело, осталась одна лишь душа да руки, пудовые руки — так набрякли за жизнь, ломают, никуда не пускают, прижимают душу к земле. Она, Дарьюшка, словно сторож, обходит весь хутор Мыс Доброй Надежды, и все его хаты, сады, все его беды и радости, все надеждинские, кого знала — не знала, видела и не видела, вытягиваются за ней, движутся следом, а она торит стежку по первому снегу к колодчику, что под ракеткой, по бокам от нее пробивают снег голубые звонцы-колокольцы, и вьется над нею синичка, и Дарьюшка льнет к ней, приподнимается, тянется ввысь и идет, бес-телесная, прямо по облакам...

Алексей чувствовал перед нею себя виноватым: увез с земли, пожила бы еще. В тот же вечер собрал друзей и знакомых на поминки. Вопреки обычаю помянули до похорон. Попросив на работе автобус, в ту же ночь двинулся с гробом на Мыс Доброй Надежды, чтобы — согласно обычаю — на третий день предать тело земле.

На полдороге, неожиданно-негаданно, как это в марте бывает, завернула пурга. Все смешалось, завывало и заструилось вниз под фары, перед автобусом встала стена. Шофер сбавил скорость. Нечего было и думать о том, чтобы съезжать с основной дороги — добраться хотя бы до Бузулука.

Гроб подпрыгивал на рытвинах, Алексей придерживал крышку, смотрел вперед с беспокойством: что же дальше-то будет? Несколько раз выходили в метель и брались за лопаты. Пока им везло. Но у Костинского леска пришлось посидеть. Мотор надсадно ревел, одолевая занос по сантиметру, Алексей, толкая машину, оборвал весь живот. Последний километр, уже перед въездом в село, метель вовсе едва не доконала.

Ночь была уже на исходе. Лишь достигли правленья колхоза, Алексей тут же воспрянул духом, побежал к председателю, потом на конюшню. Заспанный сторож повертел записку от председателя, вывел немолодого, лохматого мерина.

— Как кличут? — кивнул Алексей на мерина.

— Елпидифор, — зевнул равнодушно конюх.

— Елпидифор? Ничего себе.

Алексей затягивал ногою хомут.

— А он чистопородный, мужики запалили, — потянуло конюха на разговор. — Им, рысакам, имя, вишь ли, дают по отцу и по матери — вроде как фамилия, отчество. Мать у него была Елка, отец — Пилигрим. А наш председатель взял и придумал ему Елпидифор. Да мы так не зовем, мы попроще, у нас он Елка-Палка... Исправная лошадь, но не рысак, нет, — палка нужна, ветра боится...

Алексей тронул вожжой смирного мерина, лихо причмокнул. Через пять минут Дарьюшка перекочевала на широкие розвальни.

— Жди, — сказал он шоферу вместо прощания. — Утром тебя тут устроят.

По дороге Алексей заехал к Фадеичу. «Пропускная способность» даже слезу уронил.

— Преставилась наша вечная, — вышел он следом, чтобы удостовериться. — И мне теперь собираться.

Между тем пурга все играла-разыгрывалась, но уже сверху не сыпало, заметала поземка. Лежа на боку, Алексей трогал левой Елпидифора, правой придерживал гроб,



вот так две студентки, и подвинулся, уступил ей местечко:

— Ладно, голубка, садись.

Она легла боком между ним и Дарьюшкой, потому что лечь можно было лишь так. Алексей почувствовал через пальто ее тело, подумал: «Какая толстючая». Меринок пробирался привычной дорогой, пассажирка молчала, и Алексей опять предался своим размышлениям.

На голом, продуваемом месте розвальни пошли в раскат.

— Ах,— вскрикнула его пассажирка, и сани вывалили их в снег вместе с гробом, попоной. Крышка так и отлетела.

— А-а-а!!! — заорала в ужасе девушка и бросилась куда-то бежать, упала лицом в снег.

Алексей поставил сани опять на полозья, уложил мать обратно, накрыл крышку попоной. И только тогда подошел к пассажирке.

— Чего орешь, дура? — Только так, пожалуй, можно было ее успокоить. — Чего орешь? Ну, везу на кладбище мать... умерла... Знаешь Дарьюшку с Мыса Доброй Надежды? Ее все тут знают. Вечная бабка, а умерла,— наклонился он над лежавшей. — И потом я же тебя не звал, сама напросилась. А то, думаю, еще замерзнет, а ты всю жизнь после терзайся... Эх, Елки ты Палки,— поворачивался к мерину Алексей и качал головой укоризненно. — Что ж ты вывалил нас, бродяга?

Девушка перестала кричать, села на снег, молча смотрела на Алексея.

— А я тебя знаю,— пригляделся к ней Алексей. — Ты в Бузулуке возле Клавы Плетневой живешь. Ты тогда еще, правда, кнопкой была... Помнишь, к Клаве ходил рыжеватый такой — это я. А это мать у меня, Дарьюшка, в городе померла... А тебя как зовут?

— Феня,— едва продыхнула она и вдруг скорчилась, перевернулась лицом вниз, опять закричала.

— Да чего ты, чего? — суетился возле нее Алексей.

— Ой,— взмолилась она,— ой-ой-ой! Ох, дурной, непонятливый... ребенок у меня... рожаю...

— Рожашь? — растерялся он. — Как рожает? — И вдруг догадался: «Так вот почему толстючая»...

Побежал, подогнал прямо под нее меринка, погрузил ее в розвальни и шел сбоку, погоняя вожжой, наклонялся, нашептывал что-то хорошее, ласковое и для себя непонятное.

Вот и хутор, вот хата. Запалившись, толкнул дверь, она без труда отворилась. Схватил с гроба попону, сдвинув при этом крышку. Дарьюшка лежала островатым личиком вверх — наконец-то в своем дворе, следила за сыном, как он, не дыша, боясь сдуть волосы с носа, вводил молодую женщину в сени. А снежинки падали на Дарьюшку, во впадины глаз, таяли и не таяли, наливали впадины снеговой водой.

Он положил Феню на коник, набросил попону, кинулся к печке. Нырял в печку, выкатывал чугунок, открывал вьюшку. Каждый раз, то выбегая с ведерком к колодчику, то пролетая обратно с охапкой дровец, он взглядывал на Дарьюшку: «Прости, мать, я сейчас, погоди».

От печи пошел теплый дух, в чугушке заклохотало. Наткнулся в сундуке на холсты, рушники с петухами («готовила мать приданое, возможно, мне»). Вытянул на загнеток чугунок с водой, плеснул в таз, паром швыркнуло в потолок. Вымыл руки с мылом, даже лицо. В горницу — на Фенины стоны — шел на цыпочках...

Родилась девочка. Маленькая или крупненькая — кто ее знает, но потому, как от первого крика закачалась на окне паутина, Алексей решил: сильный ребенок.

После всех мытарств Феня с дитем лежали, пригревшись, без всяких движений. Спали. Только теперь, когда рассвело, Алексей смог разглядеть гостью получше. Спокойная, строгая, с синими кругами в подглазье. Русые косы поверх одеяла до самого пояса, брови дугой и вразлет. «Красивая», — решил Алексей, и что-то толкнулось в груди.

Поднималось солнце, красный зайчик пополз по стене, Алексей думал о матери, но отойти не решился.

— Спасибо вам, — услышал он Фенин голос.

Когда она приложилась сухими, горячечными губами к стакану, он мягко спросил ее:

— Муж-то где? Кого вызывать?

— А нигде,— выдохнула она.— Никого не надо.— И отвернулась.

— Так. Понятно,— сказал он и вышел в переднюю.

Мерина во дворе не оказалось. «Еще номер,— оторвалось сердце.— Этого еще не хватало. Не привязал, дурак,— ругал себя Алексей.— Чего стоило кинуть вожжи на куст».

Побежал по следу. Мерин ушел недалеко: в последний раз провез Дарьюшку по всему хутору в конец бывшей улицы, к бывшему колодчику у трех ядерных ключей. Его так и называли тогда — колодчик «У трех ядерных ключей». «Прости, мать», — дрогнуло все в Алексее. Ухватил вожжи, привел возок снова во двор. Втащил гроб в переднюю, поставил на стол: мать должна попрощаться с хатой. Оправил на ней все, как надо, присел, положил голову на краешек гроба.

Часа через три Феня пришла в себя: конечно, молодая и сильная. Прежде чем снова забыться, она спешила сказать ему что-либо о себе.

— Закончила школу и поехала поступать,— горячо дышала она.— Я жила у них на квартире, он мне нравился. Вот и все... А потом я жила у одной женщины. Просто женщины. Познакомилась с ней на улице. А потом она стала... ну, в общем, чтоб он женился на мне, и тогда я ушла. Я шла к маме сегодня... домой. И решила заблудиться н...

— Не надо, Феня,— сказал Алексей.— Ты лучше молчи, твоей девочке вредно.

— Хорошо,— сказала она и отвернулась.

В сенях загремели ведрами, чертыхнулись — то был голос Фаденча.

— Эй, хозяин! — ступил за порог «пропускная способность». — У меня все исделано. — И, увидев на столе Дарьюшку, поспешно стянул шапку.

— На,— подал Алексей ему бутылку и деньги.— На, брат, помяни.

— А ты как же? — спросил Фаденч его так же шепотом и показал глазами на горницу: — Там что, жена твоя, что ли, с дитем? А говорили, ты закоренелый, весь в сук ушел.

— Тихо ты! — взял за плечо его Алексей.

— Да, верно, верно,— закивал Фаденч и, развернувшись, поклонился гробу.— Земля тебе, Дарьюшка, пу-

хом, хорошим была человеком, трудовым. Последняя, значит, из хуторян.

— Последняя, говоришь? — сказал Алексей и задумался. Помолчали.

— В общем, того-этого, так, — заключил Фадееч. — Завтра приду, кой-кому из села скажу. Помянем честь по чести. Разве ж мы нехристи? Этикет людской знаем.

День клонился к закату. За оконцем откапелилось. Март есть март, голубой месяц марток: днем на солнышке снимешь последнее, ночью наденешь все сорок одеж. «Значит, без мужа она, незамужняя», — пришло Алексею на ум.

С погоста прошел народ. Заметив дымок над трубой, заглядывали к ним, присаживались перед Дарьюшкой на табуретку, вздыхали молча и также со вздохом молчком уходили. Вздыхали и по Дарье, и по себе, по хутору Мыс Доброй Надежды. Кто знает, о чем кто вздыхает, когда встречается с нею, косою, со смертью?

Алексей завесил проем одеялом, чтобы не глазели, а Фене сказал, чтобы, мол, не выстуживать, тут натоплено, а там, в передней, должен быть холод.

— Как вашу маму звали? — услышал он Фенин голос уже после заката, когда из углов надвинулись сумерки.

— Дарьюшка... Дарья Степановна. Говорил же, иль забыла?

— Я назову так свою дочь. Дарья, Дарьюшка, девочка моя, моя маленькая, реснички черненькие, глазки кругленькие, что мы скажем дяде? Скажем: спасибо, дядя...

— Зови меня Алексей.

— Просто Алексей?

— Алексей, — пожал он плечами и вышел на улицу.

К ночи захлодало. Узорчатой пленкой стянуло у завалинки лужицу. Дали разъяснились, проголубели. Он вдохнул, захватил воздуху в легкие до отказа. Вспомнились слова доктора Филиппова о пневмонии у матери («тут бы, пожалуй, ее не подхватила»).

Всю ночь он просидел перед гробом матери.

Солнце вроде бы стало больше в его однокомнатной. Феня перестирала все занавески, хваталась за одно, за другое, призывала Алексея на помощь. Алексею нравилось подчиняться ей в разных мелких делах. Он ловил себя на мысли, что ему теперь интересно быть дома, сидеть у кровати, утопающей в белом, слушать, как гуляет с Дарьюшкой Феня.

— Время идет,— сказал он как-то Фене,— а девочка, мать, не записана. А у нее должны быть имя, отчество и... фамилия.

Феня взглянула на него, ушла на кухню, ничего не сказала. В субботу они появились в загсе.

— Пишите: Дарья Алексеевна Шевардина,— наклонился он к той, что заносила сведения.— Шевардина! — повторил он с ударением и держал при этом Феню под локоть, Феня держала сверток с Дарьюшкой.

— Какая звучная фамилия,— улыбнулась та, что записывала.— Славная, боевая: Бородино, Шевардинский редут...

— А может быть, она от другого Шевардино? — смотрел Алексей на Феню («какие у нее длинные, загнутые ресницы и брови вразлет»).— От того Шевардино, что в нашем районе... Ну вот и все, Дарьюшка,— заглядывал Алексей к Дарьюшке и чмокал веселеньким глазком губами.— Видишь, Дарьюшка, в графе «место рождения» хутор Мыс Доброй Надежды. Теперь ты у нас полноправная гражданка, последняя из хуторян...

В тот же вечер с шампанским нагрянули к Алексею друзья:

— Во колдун, во тихоня. Пошептал, пошаманил — и семья тебе с полным комплектом.

— Долго ли умеючи,— неловко отшучивался Алексей.

На ночь, как обычно, установил себе раскладушку на кухне, заложил руки за голову, улыбаясь, смотрел в потолок, по которому металась блики от проходящих машин. «Она такая молодая,— говорили им в спины женщины в каком-то дворе, когда они шли из загса.— А он такой... мужественный».

Когда мы молоды, думал он, мы стремимся стать на ноги, скорее-скорее, вперед, и в этой гонке прогоняем

лучшие годы. Ты и теперь говоришь себе, что не хочешь семьи, что она вяжет по рукам и ногам, забирает лучшие силы, ты и теперь готов отвернуться от женщины, к которой тянешься всем сердцем... Лицемер, убиваешь в себе лучшие чувства...

Сегодня был выходной. Алексей собирался прошпаклевать и покрасить окна: «Маленькая, но семья». Раздался звонок — на пороге стояла... Клавдия. Алексей едва не выронил кисть, не знал, что и предпринять. Стоял перед ней, стояла она перед ним — блондинка по моде, приятная, немного усталая женщина.

— Пришла вот поздравить. Ты, говорят, с Феней теперь, с нашей соседкой...

И все заглядывала в комнату через плечо, все заглядывала.

— Да-да, спасибо, спасибо, — медленно приходил в себя Алексей.

От Клавдии пахло сильными, дурманящими духами. Алексей отвернулся и тут же почувствовал на своей шее руку, горячее дыхание ударило в губы. Он увидел ее совсем близко и — отпрянул.

— Ну что же ты, кавалер? — подобрала она свои полные, капризные некогда губы и отступила на шаг. — Женщина хочет тебя поцеловать, а ты... Ну, и как ты с ней? Расписались? Хорошо, что такая разница в возрасте. У вас будут сильные, умные дети, — вздохнула она. — От матери — сила, здоровье, от отца — ум, таланты... Плохо быть одиноким, Алеша. Прощай.

Едва захлопнулась дверь, из комнаты к нему шагнула порывисто Феня, прижалась к груди, положила голову на плечо. Алексей нашел ее губы, они были туги и послушны.

Сев в этом году закончили рано, сено еще не косили. Не уйдешь сейчас в отпуск — жди глубокую осень. Скорей же, пока отпускают, на травку, домой, на Мыс Доброй Надежды. Обычным рейсовым автобусом подъехали до Бузулука, от Бузулука их подвезли на машине. Все втроем пошли сразу на кладбище. Травы были по пояс, в цвету. Материна могилка еще не просела; на пустую, комковатую землю налезал подорожник, цвели дикие скабиозы, к изголовью клонились поднебесные капли, вроде как слезки, — голубые звонцы-колокольцы. Алексею вспомнилось, как лежала мать острым личиком к

небу и снежинки падали ей на прикрытые веки, наливали впадины влагой. Какого цвета были глаза у матери? Неужели не помнит? Кажется, такого же, голубовато-небесного. Он взял в ладонь ком земли, размял.

— Здравствуй, мать, — склонил голову Алексей. — Я пришел к тебе, видишь? Мы пришли к тебе с Дарьюшкой.

Волновахе почтальон принес телеграмму: приезжал с флота средний сын, Семен, капитан-лейтенант. И Волноваха решил, в честь такого события, усадить за стол всю деревню. Небось уместятся: теперь от Нечаевки остались рожки да ножки.

— Как это чин ему такой приспособили? — признавал у него возле колодезя сосед Никифорыч — бригадир овцефермы, всю войну протолкавшийся по причине кривой с детства ноги на ближайшем элеваторе. — В тот раз был старший лейтенант, в этот — лейтенант сверх капитана. Майор, выходит, аль подполковник?

— Сказано, капитан-лейтенант, — свернул разговор Волноваха и пригласил бригадира к себе на завтра. — Старуха говорит, пойди, гырьт, пригласи Романа Никифорыча в первую голову, нужный в хозяйстве он человек.

— Старуха у тебя не дура, — усмехнулся Никифорыч и пошел с полными ведрами, припадая на правую ногу. Оглянулся, погрозил пальцем: — Гляди у меня, не балуй!

Последние слова сбили Волноваху с теплого настроения мысли. К чему это он, — не балуй? Сами, что ли, на должностях не бывали? Ведь ты к нему со всей душой, по-человечески, а юлить тебе, Волновахе, особо и не к чему. Сиди себе, получай за вторую группу боевой инвалидности пенсию. И опять же хозяйство у тебя: коровенка, овечки, поросеночек, садик-огородик. Сосредотачивайся, пока есть силенка, на своем личном секторе. Только скупка со света сживет, мысли черные сгложут, если сразу вот так взять да и оборвать всякие внешние связи. Вон Митрофан Ильич пошел летом на пенсию, а к весне уже не жилец.

Сын приезжает, Сенька, Семен, Волновахов Семен Семеныч. Офицер подводного корабля. Всякие случались на Нечаевке войны — артиллеристы, десантники, один даже на Зимний в семнадцатом бегал с винтовкой, с «Варяга» был один. Но чтоб под воду, как карпия, да еще офицером, — нет, таких здесь в истории не бывало. Шутка сказать, у нас нырнет, а у Южной Америки выпырнет. Ну и времечко, техника — уму непостижимо. На что старший, Петр, в Харькове главный конструктор, а и тот одобряет Семеново дело.

Гордые мысли за сыновей сгоняют с Волновахи неприятный осадок от встречи с бригадиром. Так и идет к вечеру он, седой, белый, как лушь, размягченный, довольный, сторожить совхозную овцеферму. Все скотники разошлись, только Нечаев Иван загоняет последнюю ярку. Вместе с ним прошли по помещениям, проверяя «наличие отсутствия»: все животные твари на месте. Ну отарные, ну безмозглые. Подай голос одной — все таращатся, одно слово — овца. Ромни-марши. Завезены из-за границы, может, мильон за них отпалили. В первое время жить на здешнем кормочке отказывались, пока не догадались овец скрестить. Теперь ничего. Ишь, крихтит, бочка. Нарастила шерсти, крихтит. Скоро тебя, милая, на бок и — верещи, не верещи — патлы ножнями. На то ты и овца, тварь бессловесная. Надерут с тебя шерсти, напрядут ниток — деревенские бабы варежек, носков теплых навяжут, в городе тканей наткут, костюмов хороших наделают хирургам и дипломатам. И Семену Семенычу — в самый раз туда, под воду.

Волноваха усаживается на привычное место, откуда, по мере возможности, видать все подходы к овчарне. Затравляет костерок, сидит, питает его всяким хоботьем. Приседает Иван Нечаев, подставляет огню свои красные, вздутые в средних суставах пальцы. Хоть и май месяц, а зябковато: отцветает по Гиблым оврагам черемуха. Как потянет оттуда, даже овцы не стоят, крутятся.

— Сын, слышал, к тебе приезжает, Семен? — свистит сожженным морозами голосом Ванька.

— Семен, — подтверждая, натягивает Волноваха картуз на уши, поднимает глаза. — Уже капитан-лейтенант... Вместе бегали, чай, на Петровку?

— Не, я в восьмой, он в десятый.

Смотрят вместе, как огонь враз схватывает куски старой оглобли, лижет сырую неошкуренную палку, все обхватывает, улещает, утепляет ее, пока на срезе не начинает пузыриться вода и сизый парок с шипением не исчезает в пламени.

Время от времени Волноваха отрывается от дела и, привыкая глазами, оглядывается окрест. «Гляди у меня, не балуй!» Отдает костром западный склон неба, резка кромка сухой прошлогодней полыни, острые пики елок. Оттуда, из Гиблых оврагов, приходит белый волк. Если бы Волноваха сам не видел, никому бы, может, и не поверил. Не верится вообще, что до сей поры водятся волки в районе. Это сразу же после войны их тут было пропасть, ни пройти, ни проехать — ленивые, тучные, отожрались в окопах. Навели им шороху. По соседству, в Петровке, один Лисицын, знаменитый охотник, уничтожил их, может, с полтыщи. И матерыми, и мальками. Пришел как-то Волноваха к нему за капканом (лиса чередила, всех, стерва, кур порешила), а у того по двору, по-за огорожей, кутенята катаются. Одного помета, пять штук. Такие увалистые, мягкие, на толстючих лапах. «Дай, — говорю, — хоть одного для интересу». — «Нельзя, — говорит, — а ну как волчица нагрянет за ними, чем будешь отчитываться?» — А ты?» — «Ну я, — говорит, — другое дело. У меня вон оно», — и похлопывает по ружьишку золингеновской выделки.

Хорошо поработал Лисицын, видать, и другие неплохо. Сколько лет не слышать было, шутить уже стали, что в районе, мол, всего один волк остался, и тот инвалид, на култышке — капканом отсобачило переднюю правую. И вдруг нате: на ферме пропала овца. Ну пропала и пропала, пропадали и прежде. На то и животное, чтобы иметь свободное передвижение, куда хочу, туда и верчу. Для того овчары и приставлены, чтобы наводить ее, глупую, на разумные действия. Но вот что подвело Волноваху к мысли о волках: стали стричь овец, а под горлом у одной, другой драные шрамы. Тогда и поставил Волноваха перед бригадиром вопрос о ружье. Два дня Никифорыч ходил в размышлении, на третий прямо-таки озадачил: «Нельзя тебе, Волноваха, выдавать в руки ружье, ни под каким средством. А то ты волка ненароком ухлопаешь». — «И, возможно, ухлопаю», — ответил ему Волноваха. — «А ухлопывать его, санитаря, нельзя. Может,

его самолетом сюда... из Канады». — «А ежели он, стервец, меня вздумает слопать?» — «Ты уже старый, глянь — белый весь, ты свое пожил», — сказал бригадир и пошел своей дорогой.

Осенью пропали подряд еще три овцы. Волноваха усилил бдительность, даже собаку завел, сторожил теперь вместе с Куцыком. Как-то к полночи пес прижался к коленке, затрясся. Волноваха увидел волка — белый, ростом с теленка. Белый волк тоже заметил его, сел на хвост и вытянул морду. В тучах вылетела луна. Волноваха пригляделся к нему и ужаснулся: один глаз у волка был пуст, в другом стыла жуткая, человеческая тоска. И тогда Волноваха подумал, что это старый, седой и сам себе не нужный бродяга и что зубы у него искрошились, истерлись, потому и не может уже перехватывать он у жертв своих горло. И Волноваха его уже не боялся. Они сидели друг против друга, и каждый думал о себе, своей собственной жизни. Волновахе было жаль старого, голодного волка, но жаль было и самого себя. Наконец волк понял его, поднялся и, сверкнув на луну единственным глазом, удалился степенно. До чернотропа он наведывался еще пару раз, и Волновахе показалось, что бег его становился все расшатаннее.

Волноваха рассказал об этом кому-то, вся деревня стала подтрунивать, а Никифорыч, бригадир, высмеял принародно: это, дескать, у тебя от белой горячки. А когда Волноваха объяснил ему, что не употребляет хмельного по причине высокого кровяного давления и беспредельного желания жить, чтобы увидеть, что же дальше будет со строительством коммунизма, Никифорыч так напрямик ему и заявил, что, значит, пора подыскивать на Волновахино место новую штатную единицу, для которой волки, как волки, — серые, а овцы, как овцы, — белые.

Через неделю Куцык неожиданно сдох, в желудке у него оказались мелко истолченные иголки. В то утро Волновахе показалось, что за ним наблюдали по соседству, из-за плетня.

Вместо последней пропавшей овечки Волноваха привел на овчарню свою, даже старухе ничего не сказал. У Катюшки Нечаевой отара опять стала в полном сборе. И до этого все что-то овцы у нее пропадали. Не хотелось грешить на старого, бессильного волка, но ведь про-

падали. «Не балуй у меня!» — сказал утром Никифорыч. Ну, сказал и сказал, а душе — смута, телу — весь день нехорошая зябкость. Едва отогнал эту зябкость костром да разговором с Иваном про то да про се. Понял только, что рано домой Иван Нечаев сегодня не намеревается. Сидит себе да посиживает, мелет из пустого в порожнее. Не так просто обмануть Волноваху — молод еще Нечаев, крепко сбит — ладно скроен, работой пока не изломан. На овчарне задержалась Катюшка Нечаева, эта самая, с Громотушкина Верха. Не баба — омут бездонный, зубищи к весне так и скалит, лишь Стенька, мужик ее, ни черта не замечает...

— Ты чего, дед? — повернул Иван к нему свое невестное, вялое, бронзовое от костра и загара лицо.

— А про молодость вспомнил, — тряхнул головой Волноваха. — Катюшка в передовые выходит. Скоро на доску за эти дела повесят.

— Ну и что?! — напрягся Иван.

— Сын у меня под окиянами плавает, — вздохнул Волноваха. — Тут, у нас, нырнет, а у Южной Америки вынырнет.

— Нырнешь так-то вот, — поглядел на него Иван длительным взглядом, — и не вынырнешь.

— А на то голова, чтобы выныривать, — шевельнул костер Волноваха и посмотрел в глаза Ивану через огонь: в них была жуткая, нечеловеческая тоска. — На то жизнь, сынок, чтобы жить, чтобы верить в людей.

— Верь, верь, — усмехнулся криво Иван. — Бабке своей всегда верил?

— Не верил, когда сам не верил себе.

— Может, сынок твой, что под моря ныряет, не твой, например, а деда Митрошки... того, что с «Варяга», а? Может, это в крови у него — моря-окияны?

— Дура ты, всех на свой аршин меришь, — сказал равнодушно, ничуть не сердясь, Волноваха. — У каждого свой аршин. Я-то вот всегда был уверен в Дуняшке, а вот ты... за чужим подолом мотнешься, у своей своим не зови. Валяй-валяй к Катюшке, небось уже ждет.

— Гляди у меня! — поднял голову и рыпнул зубами Иван. — Гляди, дед... Люблю я ее, понял? Давно. Я тебе по-человечески... мужской разговор...

— Да уж выдывал виды. Иди. Да штаны, гляди, не урони.

— Ты, того... никому, — уже издали крикнул Иван Волновахе и прынул стезжкой в овраг.

«Вот жизнь. Все грозят, угрожают», — повернул Волноваха верх оглобли в костре и, когда освеженное движением пламя отделило от него остальное пространство, весь отдался течению мыслей о сыне, о завтрашней встрече с ним, обо всем завтрашнем дне. Так и сидел он, может, час, может, полтора, чутко прислушиваясь к ночи, к тому, что деялось там, за стенкой, в ближней овчарне, развернутой воротами не сюда к нему, а туда — к ельнику, к Гиблым оврагам. За воротами, прямо в притворе, беспокоилась ярочка, которую он свел со своего двора молчком от старухи.

А ночь была тихая, кроткая. Луну скрали тучи, и воздух, до самых звезд, казался настолько наполненным, плотным, крутым, что, если бы даже и захотелось, не провернул бы Волноваха его вместе со звездами ни ложкой, ни даже половником. Гущина эта забирала голову, валилась грузно на Волноваху, нагоняла сладкую дрему. Волноваха вытягивал шею, прислушивался, но ничего, кроме чавканья карпий в пруду под бугром да роста травы, раздвигающей за сторожкой упрелые прошлогодние листья, не слышал. Вдруг где-то задело металлом металл, похоже, жучок-майка повел бронзовым крылом о крыло. Волноваха мигом очистился ото сна и, взведенный, как семилинейка, руками по стенке, по стенке сунулся к воротам овчарни. В разрыве туч полоснула луна: к ельнику, припадая на правую сторону, мчалось что-то проворное, крупное, облитое белой луной — белый волк.

— Ату его! — затопал, замахал руками, кинулся даже бежать Волноваха, но волк прынул в Гиблые овраги и был таков.

Волноваха вошел в притвор: ярочки не было. Это несколько не огорчило его. «Подавишься этим куском, я тебя причешу, — обернулся Волноваха к Гиблым оврагам. — Как псу мому... тоже будет невпроворот».

Семен приехал первым автобусом, выскочил через переднюю дверь — бравый, в сиреневой рубашке, чемоданчик в руке. Старая как прилипла к нему, так никого и не подпускала.

— Дай хоть глазком глянуть на капитана,— суетился Волноваха и тут же осаживал сына:— А почему, спрашивается, в гражданском?

— Вот патруль,— отсмеивался капитан-лейтенант Волновахов.— Да вот она, форма, тут, в чемодане. Если сильно попросишь, отец,— надену.

В доме уже рубили кур, щипали гусей. Ждали из районного центра младшего Волновахова — Виктора, токаря на ремонтном заводе: должен был прикатить на выходной. Он приехал двенадцатичасовым, как раз все и собрались. Всей нечаевской бригадой и засели за стол, не было лишь Ивана Нечаева да Никифорыча, бригадира. Ну Никифорыч ясно: какое-никакое, а руководство: приди, поклонись. А вот с Иваном не совсем все понятно. Но не стали ждать.

— Чего скажу я вам, дорогие гостечки,— с первым тостом поднялся Волноваха-отец. Никогда не говорил столько слов, а тут сказал, и его слушали все.— Хуть он и сын мне, а скажу, мои односельчане, вот что: давайте выпьем за наших защитников, за сына мово, который, как и вся наша доблестная армия, наш броненосный флот зорко стоит на рубежах. И потому мы сидим с вами смиренно под этой вот смирной ракитой, что они стоят там, потому что у нас такая жуткая техника, что просквозит все моря-окияны наскрозь, до всего, если что, доберется. Верно говорю, а, Семен? Верно... Так давайте за нашего с бабкой сына — начальника этой очень, скажу вам, серьезной техники, капитана да сверх того лейтенанта Семена Семеныча Волновахова.

И сел. Сидел слушал других. Женщины помогали старухе, подносили к столу картошку, курятину, подливали квасу, приседали на момент, спохватившись, снова бежали на кухню. На ведерной сковороде тащили почти полбарана: Волноваха зарезал утром последнего. Старый слышит дружную работу челюстей («зубы острые, с хрустом рушат косточки и хрящи»), смотрит на длинношерстную свежую шкуру у себя на плетне («надо было прежде постричь») и переносится мыслью на всю страну, обхватывает в целом всю земную планету: «Мы-то ладно еще, у нас всего много, есть еще чего поскрести, а вот остальному миру как быть с продуктом питания? Люду, пишут, уже за четыре миллиарда. И у каждого зубы, желудок, каждый схрупают за жизнь товарняк. Химию,

водоросли станут это... кусать. А на что пересаживать в мире животных? Волка, скажем?..»

Разговор за столом разбился на множество русел. Кто-то расстегнул уже верхнюю пуговку и схватился за квас. Волноваха выждал момент, задал сыну громогласный вопрос, который давно держал у самого сердца:

— Мы вот тут все очень интересуемся. Все. Будет, Се-ня, еще война ай не будет? Третья мировая. Какая у тебя лично на это тактика и как стратегически смотрят на это наши вооруженные силы?

Базар за столом как рукой сняло. На дальнем конце кто-то поперхнулся куском, на него тут же зашикали. Во дворе, под раkitой, из умывальника капала в бочку вода.

— Слышите? Капает,— поднялся Семен и засмеялся.— Капает капля. Из умывальника, из облаков. С вишни, с яблони. Каплет, каплет над нами! Живем и жить будем — это наша тактика и стратегия. Война? Да зачем нам чужое? У нас много всего и своего. С древности люди себе добывали богатства войной, никакая война теперь не способна дать того, что дает торговля и производство. А разрушения от нее, а страдания народов? Нет, дорогие товарищи, войны не будет. Ни третьей мировой, ни четвертой. Быть не должно. Слишком дорогим стала она удовольствием. Главное — мы не хотим...

— Что ж вы сидите тут? Хата горит! — влетел на порог Нечаев Иван.— Гляньте: двор весь в дыму.

Выметнулись кто в дверь, кто в окна. Горела не хата — стожок просяной соломы, что у сарая. Пламя готово было метнуться и на сарай, искры стлались веером налево, вдоль улицы, и только деревенскому плану с другого боку, от Никифорыча, ничего не грозило. Волноваха про себя это мигом отметил; отметил это про себя и Семен.

Стожок разметали вмиг, содрали с сарая полкрыши — все вкуче, такая силища. Стояли, соображали: с чего бы стожку загореться? От молнии? Чистое небо. От ребятишек? Они, пострелята. Входили в хату возбужденные, сдруженные.

— А зря, отец, не пригласил кой-кого,— отозвал Семен Волноваху в сторонку.

— Я приглашал,— понял тот его с полуслова.— Я приглашал... Ну да ничего, уже перезимовали. А новый годок — новый кормок.

Там, в хате, все закрутилось с прежней силой: тосты, частушки, гармонь. А они все сидели на крыльце, молчали и думали каждый по-своему, но об одном. Волноваха к тому же неотступно следил за тем, что делалось в соседнем дворе.

— Сколько места в Нечаевке,— вздыхал он.— Там и там съехали. Свободно, дыши. А все равно тесно. Трудно, сынок, трудно живем на земле.

— Верно, уехали люди,— рассуждал Семен,— в города, на центральную. Значит, в кучки побольше сбиваются, тесней жить хотят. Теснее жить легче, отец, так? Просто трудно это — быть людьми на земле.

— Да я и сам так думаю, надо ближе друг к дружке... взплот, а не всегда получается,— встал Волноваха с крыльца и тянул Семена за собой со двора.— Идем, сил моих больше нет, чего покажу.

Проходили мимо хаты Никифорыча: у ольшаника стояла запряженная лошадь. Вышли за околицу, к разбитой грозою грушенке. Здесь не так и давно, во времена Семенова детства, еще вертела дощатыми крыльями мельница. Присели на пенышек. Ожидали. Чего?

— Сейчас увидишь — чего,— сказал Волноваха.

На дворе у Никифорыча закрипела подвода, выехала на дорогу. Куцый бригадный меринок тюлюпал, тюлюпал сюда, к грушенке, бригадир сидел к ним спиной.

— Погодь на час,— окликнул Волноваха Никифорыча.

— Чего тебе? Н-но! — вздернул бригадир вожжи, но Волноваха уже подлетел к узде, под голову мерина.

— Сдерни, Семен, халат,— приказал Волноваха сыну и сам подошел, стащил с груза грязный бязевый халат: на дне подводы лежала баранья тушка. Еще парная, в свежей крови. Кучкой сбоку лежала сырая баранья шкура.

— Во, гляди, сын! — поднял Волноваха шкуру и потрянул: — Гляди — вот и вот. Мои подпалы: «С» и «В»... По овцу в этом халате ходил, а, Никифорыч? Кого перед народом опозорить хотел — инвалида войны, старого человека. Мол, сын приехал с флота, мол, ясно-понятно, кто утянул с фермы ярочку, на угощеньице, так?.. Воскресенье завтра, везешь на базар? Все на «Жигули» соби-расшь, «Жигули» душу тебе переехали, так?..

Подходили люди: от Волноваховых уже разбрехалась. Остановились, прислушались.

— Ладно, отец, довольно,— увлекал Семен домой Волноваху.

— Нет уж, постой-погоди,— высвобождал тот плечо.— Дай скажу... Этот не то, что ты там, на флоте, этот здесь куда хоть нырнет-вынернет. Но у меня не вынырнешь,— распаялся Волноваха,— вон у меня сколько свидетелей...

— Ну тихо ты, тихо,— вжимался в телегу Никифорыч.— Чего тебе, озверел?

— Мне от тебя даже много стало надо в последнее время,— глядел то на него, то на людей Волноваха.— Премию с Нечаевой Катюшки списал, а Нефедовой начислил. Это раз. Специально путаешь всю отчетность, чтобы было пить за какие шиши. Это два. Сснажа целый бурт сгноил, едва концы свели... И четыре. Просяной соломы два воза во двор привезешь мне и свалишь, а я уж, ладно, сам в стог сметаю. И вообще, гляди у меня, не балуй!

Люди притихли, соображали. Опять загалдели. Иные одобряли Волновахины действия, иные пятились от греха. Раздались слова и в защиту Никифорыча:

— Неча напирать на него, бригадир все же, а то требует... Есть еще стог в саду, обойдешься. Больно много надо, ему можно, у него сын капитан... Куда там раскомандовался!

— Ладно вам,— оборвал Волноваха такие слова.— Не докумекиваете, так помолчите. А ну, Роман Никифорыч, поворачивай оглобли и давай-ка в мой двор, там разгрузишься.

Волноваха взял зарукав Семена, и они повернули к деревне. Подвода послушно двинулась следом.

К вечеру, напялив на свою белую голову тесный картуз, как всегда, отправлялся на пост Волноваха. На этот раз пошел с ним Семен. На привычном месте, спорее вдвоем, затравили костер. Сидели, подставляя теплу ладони. Волноваха ни о чем не спрашивал сына: служба такая, сплошь военная тайна. Из оврагов выползли сумерки, луна смягчала их, ныряла в один краешек тучи и, подержав всю окрестность в тревожном ожидании, появлялась из-за другого края опять. И тогда странной, но все такой же родной, невообразимо просторной, глубокой, до ближнего города и дальше, по Среднерусской воз-

вышенности до самой Москвы, виделась сидящим у костерка вся эта спящая, зябко серебряная равнина...

Волноваха вздрогнул: волк. Толкнул сына: белый. Белый волк стоял на бугре, как привидение. Плоскогрудый, с подтянутым брюхом, он глядел на них, на деревню, на ее уже редкие огоньки. Прожит еще один день, шкура стала белее, тесно зверю жить на земле. И вдруг он поднял голову и завыл. На луну, на огни по деревне, на звезды. Леденящий, отчаянный крик уносился в пространство и тонул в шиферных крышах. Белый волк тянул голову выше, выше. Один глаз его, потерянный, очевидно, в сражениях, был пуст, в другом стояла жуткая, почти человеческая тоска.



Вечером я получил из дому два хрустящих червонца, а уже утром карман опять оказался пуст. И как они выскользнули?

Предстояли нелегкие дни.

К тому времени я перенес страшный грипп. Целый месяц пришлось проваляться в постели, организм вяло боролся с инфекцией, началось какое-то совершенно невообразимое осложнение. Говорят, я даже терял сознание.

В подслеповатые окна пахнуло весной, нагревались солнцем старые сосновые подоконники, голая ветка возле форточки вдруг зазеленела, набухла соком, обросла почками. Целыми днями я думал, думал.

Все эти годы я жил какой-то странной жизнью. Когда я оказывался на мели, иными словами без копейки в кармане, и, слыша тонкий голодный зуммер в ушах, старался забить его усиленным чтением. Отчетливо виделась только деревенька наша, мое безотцовское детство, мать вечно усталая, тихая, с растресканными пальцами, она техничка у нас, в нашей школе...

Эту школу я закончил чуть не с медалью, подал документы сюда, на литфак. Туровск оказался немаленьким, и домов красивых в нем было неисчислимое множество. После долгих мытарств мне удалось наконец снять угол в районе бывшего женского монастыря. Первые дни я ходил как во сне. Книжки, книги в магазинах, множество книг. Мне хотелось иметь сразу все, сию же минуту.

Приходилось где-то читать о том, что в голодном восемнадцатом питерцы иной раз пробавлялись морковным часом; мой был красивее, а главное — хлебный, сытнее. Он согревал и давал ощущение покоя. Несколько семестров

я сдавал экзамены лишь на пятерки, последний не вытянул и на стипендию.

Вместе со мной в монашеской келье жили еще двое — Костик и Миша, с естественного факультета. Учились они без срывов, размеренно, или, как выражались, «на деньги». Иногда они пытались подсунуть мне под фирменный чай то пачку печенья, то пару кусков сахара, но я утверждал, что «горелый чай» пьют только пустым. Зато у них не было ни одной собственной книжки, ничего, кроме учебников, за что я прозвал обоих великими просветителями, переименовав Костика и Михаила в Кирилла и Мефодия.

Пользуясь близостью родительского очага, Мефодий возвращался с вокзала нагруженным банками-склянками, с которыми предпочитал справляться в одиночестве. Кирилл был девятым в семье и потому мог надеяться лишь на себя. Он вечно варил свои знаменитые супчики из ему лишь известных трав и корней. Субботу он называл «разгрузочным днем»: шел разгружать вагоны на станцию, звал и меня, но мне все был недосуг.

Где работала наша хозяйка, мы не интересовались. В передней обычно толпился люд, слышался сторожкий шепот — либо спекулянтки, либо гадалки. Какую мзду и за что берет с них тетка Гриппа, мы не расспрашивали, но примечали: к вечеру, заимев деньгу, хозяйка исчезала на время, возвращалась с ведром — от нее за версту несло денатуратом.

— Лексей, божий ты человек, — приставала она. — Давай я устрою тебя в церковный хор певчим. Бога будешь благовестить и карман свой не забывать. А то, ишь, истончился...

Зимой я поднатужился и сдал на стипендию. Зимой же меня и познакомили с Натальей Песковской. На институтском вечере подошел один пижончик и речитативом:

— Ты не танцуешь, Ленский? Чайльд Гарольдом стоишь каким-то. — И толкает шатенку: — Познакомь-тесь, — а сам с блондинкой в толпу.

Ни за что на свете я не сказал бы Наташе о себе правды. Она недурно одета, городская, из хорошей семьи. Но и мы не лыком шиты, Наташа: отец у меня художник, у нас собственная машина, квартира на главной улице; правда, живем мы не здесь — в другом городе, а здесь я

случайно — конкурс, видишь ли, от него хоть куда, хоть на Камчатку.

— А что же, папа ничего не смог для тебя? — спросила она.

— Смог бы,— врал я ей беззастенчиво.— Да я гордый, я сам.

И в этом я прав. Никто в институте не знает, где я живу и на что. Наташа? Да лучше отсечь правую руку, умереть вообще, чем позволить увидеть себя в этом мышьином углу.

Ребятам их декан протолкнул к весне общежитие, и они вскоре ушли, а мне с квартиры тетка Гриппа предложила съехать — комната на лето будет нужна приезжающим родственникам, и я доживал до каникул в полутемной кладовке. Матрас лежал на полу, я — на матрасе. Тяжелый дух от мышей и ржавого сала обступал со всех сторон, кажется, я пропах им насквозь.

Дело все же шло на поправку. Зуммер в ушах прекратился, но гуд в голове, ломота в теле еще оставались. Червонцы, присланные матерью, должны были окончательно восстановить мои силы. Но, во истину, деньги, что воробьи,— с крылышками.

Порывом ветра в оконце бросило ветку цветущей сирени. Надо вставать, что-то делать. Нашел завалившийся, засохший стержень. Расписывал-расписывал, наконец расписал. Итак, мы начинаем.

«Дорогая мама! Как ты там? Говорят, техничкам в школе повысили зарплату. Ты на мытье полов особенно не убивайся. У меня пока ничего. Правда, живу без копейки, в чулане. Вот уже третью неделю болею гриппом. Валяюсь на полу вместе с мышами. Пришли в общем хоть рублей десять...»

Весна. Как же пахнет сиренью. Несколько строк Наташе, всего несколько строк. Она сейчас в деревне у бабушки. В отпуске. Первый в ее жизни отпуск! «Наташенька! Ты никогда не была у меня, а здесь великолепно. Сижу на подоконнике, держу в руках «Письма Ван Гога» (кстати, я сейчас весьма заинтересовался французскими импрессионистами) и думаю о тебе. Студент, как птица: пища под каждым камушком, питье на росистом листе.

Скучаю по тебе, просто нет сил. Явлюсь к тебе скоро, как только одолею этих импрессионистов»...

Ага, вот и конверты. Это письмо сюда, это сюда.

Наталье в деревню. Домой матери, прямо на школу. Так и напишем: «Селивановой Клавдии Павловне».

— Тетка Гриппа, опусти, пожалуйста, в ящик.

— Ишь, как оно расписался. То матери тоненько, жиденько, а то, гля-кося, настрочил.

— Все-то ты примечаешь,— отвечаю я равнодушно хозяйке.

Целую ночь я лежал в бреду. Роились, плавали многоцветные мухи. Возникло дорогое лицо. В руках письмо мое — толстенное, словообильное. Сердце почти остановилось. Липкий пот обливал тело: умираю? Я должен увидеть ее. Непременно. Как можно скорее. Сегодня же.

Как добирался до вокзала, не помнил. Помнил себя, лишь когда садился в вагон. Поезд до Химкомбината называют «пятьсот веселым», по другому «сучок». В нем когда-то было всего три вагона. Раньше в степь уходила однокорейка еще старых времен. Вагоны цеплялись к допотопной «кукушке», при движении все громыхало, скрежетало. Ходил «сучок» весело, но не ходко: можно выпрыгнуть из вагона, пощипать щавельку на обочине — не отстанешь. Года два назад развернули большое строительство, подумали и о дороге: перетягивают полотно, подсыпают щебенку, заменяют рельсы и шпалы. И летает «пятьсот веселый» теперь до полпути, оглашая поля, перелески своим погрубевшим голосом.

Станция, где я высадился, была совершенно безлюдная, тихая. Вернее, не станция — так, остановочный пункт. Коричневый, обшитый досками официальный домик с вывеской «Домаха». Поодаль такой же расцветки, но только кубастее, с колодчиком во дворе, наверно, жилище путевого обходчика. У официального домика едва покачивался фонарь с желтеющим светом.

Уже прятались звезды. Из соседней ложбины тянуло умеренной свежестью. Пожилая щекастая тетка с закатанными рукавами, в ситцевом переднике поверх пиджака кормила у сарайчика кур. Отрывала куски от буханки и крошила, отрывала и крошила, бросала.

— Как пройти на Волновос? — спросил я у нее.

— Эвон, мила-ай,— отвлеклась она и махнула направо.— Во-он все стежкой, стежкой, леском да туда, к перевозу.

Кровь ходила толчками, по плечам колотили травы, обдавали льдистой росой рубаху и брюки, спине было

жарко, надо мной вился парок. Лицо Натальи колыхалось в травах и все манило вперед. Я вдыхал бездонную степь, словно пил родниковую воду; крутилась в травяной заросле тропинка — с бугра смотрелось распаханно, буйно. Открылась широкая, тихоструйная Туровка — искрилась на перекате сизовато-свежо. Я упал на травы, жаркой щекой слышал гниловато-знобкий привкус речной воды.

Подошел паром, заскрипел обратно. Противоположный берег подвигался медленно, словно стоял на месте. Взгляд уводило в глубину вод, перевиваемых течением, в темную тишину, из которой на поверхность поднимались слова:

Когда огромный мир противоречий  
Насытится бесплодную игрой,  
Как бы прообраз боли человеческой  
Из бездны вод встает передо мной...

— Эй, того, студент! В омут юркнешь, — остерег меня перевозчик, тощий и хлесткий, со спины словно мальчишка. Упираясь босыми ногами в борт, старик ловко перехватывал гудящую проволоку, натянутую между берегами. Острились лопатки, бурела от пота рубаха. Корова, стоящая на корме, все норовила подцепить губой бегущие мимо водяные свеи.

— Студент! На лбу у меня, что ли, написано?

— Уфф! — изгибался, тужился перевозчик и косился в мою сторону, рассуждал: — Студент, а то кто ж. Прозрачный такой, зачитанный. И руки жидкие.

— Небось не жидкие, — встал я рядом и рванул на себя проволоку.

— Ну, ты, чертяка, — ругнулся не сердито паромщик, оттирая меня плечом.

«Раз-два, взяли!» — заводил старик. Разгоняли плоскодонку, она неслась, рассекая волны, корова переступала, глядя на нас, в беспокойстве, а мы все убыстряли ход. «Раз-два, взяли!» — подхватывал я. Приятно было толкаться о плечо сотоварища, напрягать в одно время свое, разом выдохнуть силу и снова ее набрать. «Раз-два, взяли!» — опять заводил паромщик, сверкая глазами. Наконец плоскодонка осела в береговых зарослях.

— А ничего, заводной ты, — хлопнул меня на прощанье паромщик. Он все смотрел, как я поднимался на берег, все покачивал головой.

Вот за оврагом и Волновое. В каком из дворов Наталья? Каждый палисад, каждое оконце полно глубокого смысла. Вновь туман застилает глаза, комариный зуммер возникает в ушах.

— Званцевы? Да, здесь, милоч, здесь,— слышится в ответ вроде знакомый старческий голос. Ну да, она была тогда, на дне рождения, Натальяина бабушка.— Наташато? Эх-хе-хе, молодые. Пошла по сирень, милоч, в глухую урему. Да кто ж ее? Стань-ка милый на свет, Ах, Алешка! По сирень пошла, по сирень.

— Ну, хорошо, я подожду.

— В хату пройдешь али так?

— К реке пойду.

— Ну, пойди, милый, пойди.

На крыльце, на гвоздике китель. Погоны. С зеленой окантовкой, один просвет. А отец Натальин — сам видел фото — артиллерист, и погоны с двумя просветами.

— Дак в уреме,— идет, тащится следом старушка.— Так-тося. Кто по небу соколом, а кто пешком по земле...

Грудь сковало безотчетной тревогой. Я прошел через двор, огородной межой, к зеленым. Лежал под горячим солнцем в ложбинке, меня обступали травы, я чувствовал себя опять невесомым, пустым, дурман отрывал голову от тела, сжигал всего изнутри, охлаждали стихи:

Я не умру, мой друг. Дыханием цветов

Себя я в этом мире обнаружу...

Над головой твоей, далекий правнук мой,

Я в небе пролечу, как медленная птица,

Я вспыхну над тобой, как бледная зарница,

Как летний дождь прольюсь, сверкая над травой.

Нет в мире ничего прекрасней бытия...

Я жизнь мою прожил, я не видал покоя:

Покоя в мире нет. Повсюду жизнь и я.

Нет, почему «жизнь и я»? Разве мы делимы с жизнью? Разве я не в жизни, а жизнь не во мне? Наталья. Нам вместе было всегда нелегко. Прощались на чужих улицах, пока наконец не показала свой дом. Обыкновенный, с подслеповатыми окнами, еще прасольско-купеческой эпохи. Не дворец, не замок, но что для меня эти замки. Мы сидели с ней, друг против друга, в низеньком зальчике. Под зеленым абажуром странными, чуть ли не сказочными казались подушечки, вышивки, семь слонов на комод. Повела плечом иронически, призналась с резкой откровенностью, что это хозяйкины

апартаменты, а они с матерью живут через коридор, в крохотной комнаткушке.

Наталья могла привести меня в удивительно радостное или, напротив, в унылое состояние. И все это как-то легко, в один миг. В ней сидел словно бесенок: то она была ко мне слишком внимательна, даже ласкова, то вдруг отгораживалась стеной. Эту холодность я относил на счет своего неблестящего внешнего вида (и костюм староват, и нос конопат) и потому иногда платил ей той же монетой: не приходил на свидание, вел ни с того ни с сего грубо.

Она успешно сдала последнюю сессию. Хотя почти всех из ее техникума посылали куда-то в Сибирь и Среднюю Азию, сумела остаться в Туровске. После лета она стала мягче, загадочней. Вскоре пригласила меня на день рождения. Переступив порог, я увидел щедро уставленный стол, особую торжественность в лицах. Наташа успела шепнуть мне, что из Волнового специально приехала мамина мама, я растерялся.

— Мне жилось нелегко,—клонила ко мне, слегка разомлев от «Старки», мать Натальи Полина Сергеевна.— С мужем мы разошлись... специальности не получила. Можно было бы вернуться в деревню, но как же, жена офицера. Все за город цеплялась. Пятнадцать лет на фабрике. И в дневную, и в ночную... Красивой была, красивой жизни хотелось. У самой не вышло, так хоть у нее. Соблюдала дочь, растила дочь в гордости...

Наталья отсутствующе смотрела в окно.

— Ах, детки, детки,—тянулась к щеке моей сухими губами Натальяна бабушка.— Алексей, вижу, хороший. Какво вам еще прынца-то?

Вон оно что, для полного набора красивой жизни им не хватает «прынца». Одна подружка Натальи вышла замуж за заведующего магазином, другая — за электросварщика. А этой хотелось «прынца».

Я вышел наружу, скрипнула дверь, и тут же ухо мое обожгли жаркие губы. Они жгут с той поры. И когда я лежал гриппозный в постели, и сегодня с утра, когда я решил на эту поездку. Всю эту дорогу в степи через речку, в припойменное Волновое.

Так, лежа в траве, вспоминаю я недавнее прошлое. Солнце идет на закат, вот оно уже касается шиферного конька риги. Я возвращаюсь обратно: межа вся в пови-

лике, побелены стволы яблонь. Сейчас увижу ее. Еще тридцать, двадцать шагов.

Ее голос. Из глубины сада, из заросшей беседки. Значит, ждала! Я бросаюсь на голос.

— Иду-у,— слышится другой голос — мужской, сочный. По меже сюда, в глубину сада, от дома движется плотный блондинистый парень в кремоватого цвета рубашке, брюках с зеленой окантовкой. Владелец того военного кителя? Ноги мои отказываются служить, костенеет тело.

— Ну где же ты пропадал? — слегка капризничает Наталья.— Тебя лучше не посылать.

— Вот.— Сквозь сирень я вижу, как парень протягивает Наталье книжку, Наталья придвигается к нему, он прикрывает ей локтем шею, книжка падает наземь. Кровь бросается мне в лицо: стыдно, нехорошо стоять.

— Вот, Наташенька, кем-то подчеркнуто: «...как бы прообраз боли человеческой из бездны вод встает передо мной». И рядом карандашиком: «Я люблю тебя, Наташа». Тебе что ли?

Я выхожу из укрытия. Краска сходит с ее лица, она отступает на шаг. Остаемся одни. Она стоит ко мне боком, глаза налились темнотой.

— Зачем ты приехал? — говорит она низким, совершенно чужим голосом.— Я тебя не звала... Ха-ха, ты не танцуешь, Ленский, Чайльд Гарольдом стоишь каким-то...

Я отворачиваюсь:

— Ухожу, Наталья.

— Уходи.

— Ухожу ведь.

— Уходи.

Смеркается. Тропинка то исчезает, то неожиданно является ногам своей твердостью. Скорее, скорее, пока светлеет полоска заката, переправиться через реку, добраться до дощатого домика с вывеской «Домаха». Травы бьют по плечам, цепляются за волосы, брови.

Река остается позади. Тропинка совсем потерялась. Тишина то пульсирует, надвигается на меня, то уходит, растворяется где-то. И вдруг разом все засветилось, треснуло, ветвистые молнии высветили серебряные стволы, обступившие озеро, которое до краев, кажется, наполнено не водой — электричеством, ливневые нити сое-

диняют небо с озером, лесом, со мной, и все захлебывается в потоках.

Дождь неожиданно кончился. Я стою и смотрю совершенно сухими глазами, как впереди, где-то в березках, загорается тонкий красный костерчик. Вот он помигал, помигал, встрепенулся, потянулся ввысь, затрепетал, набираясь духу, поднялся, расширился, засветился ровным и чистым пламенем. Перед ним мелькают тени, но они уже не могут его заслонить. «Должно быть, туристы,— решаю я.— Как раз сегодня суббота».

Для чего загорелся костерчик? Чтобы кто-то обсушился, сварил картошки или просто смотрел на пламя, как оно отсвечивается в деревьях? Кто-то увидит дорогу, не останется сам с собою в степи. Кто-то может соколом в небе, а кому-то, усталому, мокрому, брести по земле...

Я споткнулся: под ногами светлели рельсы однокорейки. Значит, где-то поблизости полустанок. Двигаюсь на подсвеченные дальним фонарем деревья у дощатого домика и вдруг чую что-то живое. Прямо на рельсах, шумно вздыхая, лежит живая огромная масса. Бык! Скоро поезд, а этот разлежся. «Ну, поднимайся, поднимайся!» Бык только стонет: нога, проехав по щебенке, попала под рельс и подвернулась, шпала не выпускает ногу обратно. Хворостиной его — напрасно. А время идет. Скоро поезд. Поезд, люди! Как это в рассказе у Гаршина? Путевой обходчик встает перед поездом с красным флагом — флагом из исподней рубахи и собственной крови. Стоять столбом? Тьма кромешная, не увидят. Для чего в лесу кто-то зажег костер? Просто чудо, что в кармане спички. Поезд на костер не пойдет.

Страшно тянется время. Вечерний прошел, до утреннего еще далеко. Этак можно и заоченеть. Лягу-ка поближе к костру, позади костра, чтобы не заслонить свет машинисту. На припеке подсыхает одежда, от тепла сжимаются веки. «Пятьсот веселый» не врежется в быка, не свалится с крутого откоса, даже если машинист вовремя не затормозит, просто перережет тебя вместе с костром...

— Э-ге-гей! — слышу я толчок в спину.— Ты чего тут развалился?!

С трудом размыкаю глаза: в красных кольцах надо мной чье-то усатое лицо, наверное, машиниста. Вдали

пыхает паровоз, из вагонов высыпают люди. Обступают, кричат, перебивают друг друга.

— Там бык,— махнул я рукой.

Все бегут за поворот. Нет никакого быка. Назад ко мне:

— Хулиган! — движутся в гневе усы машиниста.

Я вижу на шпалах шерстинки, капельки крови: рельсы, щебенка, «Пятьсот веселый» наваливается на меня, и я лечу, лечу под откос.

— Алеха! — слышу я очень знакомый голос: Кирюша! Конечно, Кирюша. Лицо загорело, родное лицо.

— Не видите, человек болен,— говорит он, отделяя слова, и ведет меня за плечи к вагону.

«Пятьсот веселый» стучит бодро в город. Помыться-постричься едет в Туровск на воскресенье студенческий строительный отряд. «Я тебя теперь не отпущу,— смотрит мне в глаза «просветитель».— Идеалист несчастный. Хватит строить воздушные замки, будешь с нами реконструировать однопутку».

Вот и Туровск. Опять щербатые стены бывшего женского монастыря, опять моя келья, моя мышеловка-кладовка.

— Сынок! — сбегает ко мне мать с крылечка, старенькая, моя дорогая.— Сынок,— кладет она руку мне на плечо, и глаза жалко слезятся, улыбаются.— Ты бы показал мне свою Наташеньку, а, сынок? А все они, эти... как их... импрессионисты.

— Ах, мама, ну что ты в них понимаешь! — кричу я.

— Понимаю, я понимаю,— суетится она и достает из сумки яблоко, кусок сала,—какая же она у меня ветхонькая в бумажном пиджачке, единственная, добрая моя.

— Да, мама, да,— говорю я с трудом, в глазах мечутся молнии.

И крутит, ломает тело. Но нет, все будет теперь хорошо, со мною все они: мать, «просветители» мои Кирилл и Мефодий, все ребята, отряд. С ними на однопутку. К черту этот клоповник, эту келью, весь монастырь. «Ишь, как оно истончился, Алексей,— слышится вкрадчивый голос хозяйки.— Бог с тобою, живи». Ей — свое, мне — свое, до своей счастливой звезды. С кострами в груди так и идти и идти по земле.

## Девушка с лисьим хвостом

Моторная лодка «казанка» мчит их по Байкалу. Два «юпитера» всеми своими лошадиными силами трясут легкий дюралевый корпус, деревянное сиденье, все тело — плечи, руки, голову. Слева с синеющих гор накатывает Нижняя Ангара, она выносит сюда «топляки» — смытые с берегов таежные сосны, уже в реке они набираются воды, грузнеют, выходят на простор, покачиваясь на поверхности верхним краешком, как перископом. Ломит Игорю зубы: только что отобедали у Пимена Николаича, запивали омуля «с душком» просто водой, почерпнули корцом из бочки и пили. Вода чистая, резкая, сводит скулы, байкальская.

Прошлым летом у Пимена Николаича умерла жена, учительница, и жить к нему, хлопотать с близнецами-внучатами переехала теща. Попросила как-то принести свеженькой водицы для самовара, почерпнул ей вот также из бочки, попробовала: «Какая хорошая, свежая», а той бочке уже как с полгода. Рассказывая об этом, Пимен Николаич даже ничуть не улыбнется: та же самая вода, этот самый Байкал, бьющий волной ему почти в окна, и остудил жене легкие...

Сегодня выходной, воскресенье, и Пимен Николаич везет на рыбацкую топию, на свежего омуля, Игоря — студента инженерно-строительного института. И из этого института, оказывается, посылают всюду на практику, не забыли и их ничем не примечательную передвижную мехколонну, где Гаськов начальником вот уже восемь лет. Едут, еще бы, сейчас к Северному Байкалу всеобщее притяжение: БАМ гремит по стране, по их поселку пройдет магистраль.

— На, рули! — передает Пимен Николаич управление студенту и сидит ко всему безучастный, словно придремывает.

Мелкие брызги сыплются в ветровое стекло, «казанка» чувствует малейшее движение рулевого. Лодка северобайкальцу дороже самой комфортабельной «Волги». Куда здесь на машине, разве что до Холодного села да обратно, да еще по поселку, только всего и дорог. Это после пойдут бетонки, асфальты, а пока «казанка» незаменима: таежной речкой сходить по морошку, сбегать Байкалом к омулевой «камчатке». Нет-нет да и скосит глаз Игорь на скуластое, крепкое, в рябинку лицо Пимена Николаича. Уже второй месяц на практике, а все не поймет, что он за человек. «Таежный, — про себя шурится Игорь. — Зачем везет меня все-таки на тоню?»

Байкал совсем тихий и плоский, седовато парит, над затылком висит кусачее солнце, а прямо по курсу на такой же морщинисто-гладкой поверхности отражение того легкого, сиренево-синего берега, он меняется слабо, хотя байкальские воды мчатся навстречу резво под бешеными «юпитерами».

Вошли в бухту Аяя, пошли левым бортом вдоль подковы зеленого царства, мимо сосновой и кедровой горбатой коврижки, за которой громоздятся сумрачные, тяжкоскалистые горы, от вершин по распадкам веселят глаз белые шнуры — вечный снег. Странно, июль месяц и вечный снег. И ведь вроде не так высоко. В жизни Игорь не видел вечного снега. Потянуло ветерком, и ноздри слиплись, ожгло легкие — действительно снег.

У самого берега Пимен Николаич меняется с Игорем местами, ведет «казанку» точно на белые домики, по известному ему проходу между рядами торчащих из воды колышков, к далеко выступающему причалу. Даже странно, как мелко. Это и есть знаменитая Аяйская банка, а на банке под колышками в воде рыбацкие сети, Аяйская «тоня». По инерции «казанка» движется плавно, как в воздухе. Игорь перегибается через борт и видит бегущие вверх пузырьки, серебристые от дна до поверхности, они извиваются, словно водоросли, в такт движению волн, между ними стреляют черными спинами омули. Игорь уже наслышался про чудесный Аяйский берег, про серебристые водоросли, про радон, которым дышит земля...

Из домика бежит, машет сюда им руками седой, худощавый старик. Это дед Фомка, приятель Пимена Николаича, к нему и ехали. Дед Фомка искренне рад свежим людям. Тут же снимает с себя бушлат, остается в исподней рубаше, закатывает до локтей рукава.

— Проголодались, однако,— шуруется он в полнейшем гостеприимстве, а лицо суховато, пергаментно, сбегается складками от ушей к самому носу.— Сейчас мы, однако, че-нить спроворим, омулька на рожне.— И дед живо берется за нож.— Сети-то? Че им, сушатся,— перехватывает он взгляд Пимена Николаича, тот глядит, как ветер треплет бесконечную рыбацкую сеть, растянутую для просушки по вешкам.

— Одну испробовали, завтра всю тоню брать. Завтра с Байкальского баркасы будут, рыбная и лесная инспекция, завтра на Ая праздник...

Сидит Игорь у грубо сколоченного стола, под тощей, обрубленной лиственницей, сидит и слушает деда Фомку, про то, как теперь не умеют ловить омулька, никто не знает ни повадок хитрой рыбы, ни здешнего дна, излюбленных ходов, которыми ходит омуль кормиться, вот его, уже старого, и тормозят до сих пор в колхозе, просят в путину помочь, вот он тут каждое лето и крутится. Скольких хлопчиков испробовал, хочется передать свое дело, а покрутятся сезон-полсезончика и, как в воду, сбегают: то назад в село, то в райцентр, и обратно один он, дед Фомка; надо привлечь человека с родства, какой тебе близок по крови, по интересу. Игорь слушает деда, сам приглядывается, как ловко тот орудует с омулем: ножом по боку раз, ножом по боку два, сбил серебряную чешую, продробил с одного-другого боку насечку, тирнул солью, воткнул в раскрытую пасть свежеструганую сосновую плашку — насадил омуля на рожон. Остается нажарить костер...

Игорь замечает валежник в сторонке, целая куча за кедровым стлаником. Подцепляет охалку покруче, приподнялся, а за стлаником что-то ярко-оранжевое, глаза режет — палатка, валежник из рук так и просыпался: чей-то голос возле палатки...

Сидят все на корточках возле костра. Огонек едва дает надежду, пых-пых, снова гаснет, укрывается дымом — все сырое, зажечь с одной спички не удастся. Игорь слабо слушает и деда Фомку, и даже Пимена Николаича,

занят мыслью, кого только что видел возле палатки. Наклоняется, ложится под костер прямо в джинсах (ухлопал перед отъездом почти всю стипендию) и дуэт снизу в огонь, поднимает старую золу с кострища, вот она на ресницах, хрусткая на зубах.

— А ну-ну,— опускается на коленки дед Фомка.— А ну-ну.

Какне помельче, посуше палочки — вниз, какне крупнее — на них, палка на палку — шалашиком, бересту под них — затравился огонек. С бересты на бересту, с палки на палку — пошел, зацепился, зажил. И вот уже полыхает шалашик, накаляются ветки, даже сырые, теперь все кидай, все сожрет, все сметет ненасытное пламя.

— Ха-ха-ха,— сквозь потрескивание валежника слышит Игорь звонкий, как ручья переливы, удивительный женский смех, и сквозь пламя видит ту... да, конечно, ту самую...

— Вы?— шевелит он губами ей, продолжая стоять перед ней на коленях, а она продолжает так удивительно, так совершенно бездумно смеяться.

— Иди, Нина, к нам сюда на омулька,— зовет ее дед Фомка.— Посиди.

Игорь видит ее через пламя костра: прислонилась к лиственнице, белокурая, стройная, гибкая, в легком светлом халатике, лишь темнеют золотистым загаром шея, руки и ноги, а, может быть, все это пламя костра; это пламя костра делает ее бронзоволикой, а глаза глубокими, синими, неразгаданными, как Байкал. Она смотрит на него — в улыбке уголки губ, в затаенной страсти все смуглое тело, чуть прикрыто легким халатиком. «Какая девушка! — не отрывается от пламени взглядом Игорь. — Почему она здесь, в этой таежной глуши?»

Она бежит впереди по тропке, с камня на камень, невесомая, как косуля, и он за ней все выше по кедровому стланику, голубеющему по сторонам, только шишки вспыхивают из хвойных глубин, глядят своими желтовато-незрелыми зраками. Уже издали слышно, как что-то гудит и гудит, бесконечно. Игорь переступает через один ручей — он порос мощной травой; переступает через другой — он дымится весь, берега с седоватым налетом. Поворот, еще поворот и — крутая, как срезанная ножом, скала. Из скалы бьет струя толщиной в три руки,

падает на седые, мшистые голыши и дымится, течет дальше в кедровник.

— Вот!— подставляет Нина левую руку под струю, играет ею, серебристые брызги летят во все стороны, на халатик ей, на лицо. Игорь протягивает руку и тут же отдергивает: так вода горяча. Он ведет руку к Нине, хочет коснуться ее, ощутить, она увертывается, прыгает в сторону, за кедровый стланик. И он делает шаг в сторону, за кедровый стланик, и здесь из скалы бьет струя.

— Вот!— подставляет под струю Нина правую руку и метит в него серебристыми брызгами, и он сует руку в струю и отдергивает: так вода холодна.

— Как краны в квартире,— смеется он, но она уже вон где, несется вниз по тропе, лишь голыши срываются следом, сухо выщелкивают друг о друга.

— Эге-ге-э-эй!— долетает с берега голос деда Фомки.

Игорь спешит на голос напрямую, через кедровый стланик. На ходу сломал ветку— сколько недозрелых шишечек, желтовато-солнечных зраков, так глядят неусыпно из голубой хвои, из таежных глубин. А вот и рыбацкий домик. Вот и бивак с костром. Дальше, насколько хватает глаза,— Байкал. Глянул и не узнал его: не такой уж и плоский, не так уж и ясный, потемнел, огрузнел, налился синевой, в которой зреют, вьются, таятся бури, до дна как-никак сотни метров— величественный, торжествующий, себе на уме.

Солнце заметно снизилось, стало крупнее, со слепкой вершины того, едва ощутимого берега протянулась побережная синь сюда через все седины Байкала. И ветер шевелит ее волосы. Она вынула из жгута на затылке железную шпильку и бросила ее с берега, и волосы раскатываются, катятся-катятся, падают на плечи, все ниже, до пояса, ниже пояса, до самых пят. Упали и на весу закачались— воздушные, с ослепительным блеском, полные солнца.

Пимен Николаич и не смотрит на Игоря, даже словом не перемолвится. Дед Фомка скосил левый глаз: «эхе-хе», и опять возится со своими рожнами. Дед берет из ведра новую партию рыбки, насаживает на рожон, втыкает над угольями одним боком, когда этот бок покрывается румяной корочкой, дойдя в «собственном соусе» до известной кондиции, дед Фомка переворачивает омуля на другой бок, втыкает вземь рожны, держит над

жаром, пока и этот бок не покроется корочкой, с корочки не закапает в пламя капля за каплей, вспыхивая и погасая, пока от рожна не распространится такой чуть прогорклый, сладковато-пресный, дурманящий запах, от которого пойдут клубом слюни. Но Пимен Николаич не смотрит на Игоря, и дед Фомка молчит... Как далеко отсюда города, институты, Москва. Как неблизко порой везде люди...

— Садитесь,— приглашает дед Фомка, и все усаживаются за дощатый стол под лиственницу с обрубленными нижними ветками, где завтра — это уж точно — соберется народ, как всегда раз в году, на первый день ловли: рыбаки с Байкальского, рыбная и лесная инспекция и все те из райцентра, кому в этот раз не усидится дома, захочется кого-то увидеть, побыть вместе со всеми, друг с другом, омуль только предлог.

— Так вот это Нина, соседка моя, однако,— глядит озорно на Игоря дед Фомка и берет из миски омуля на рожне, прикикает к поджаренному бочку бороденкой, начинает есть и подхрустывать.— Лодчонку взяли, сбегать куда-то собрались?

— В райцентр мать уехала, за продуктами,— угибается Нина к столу.

Она сидит рядом с Пименом Николаичем. Байкал и солнце у них за спиной, в тени их лица темны и загадочны, но играют глаза ее да звенит кокетливо голос:

— Пять лет нашей свадьбе. Приехали сюда с мужем, с Василием, и с трехлетним сынишкой Вовкой, со свекровью... Так, что ли, дедушка? Это у нас как бы... свадебное путешествие, лучше поздно, чем никогда, так, что ли, дед?

— Так-так,— качает головой, словно бы удивляется, дед Фомка,— так-так,— повторяет он себе для уверенности.

— Так,— отставляет она решительно миску и, изогнувшись вся, гибкая, смотрит Пимену Николаичу прямо в глаза. Тот опускает голову, катает по столу хлебный шарик, молчит.

— Не понравился мне у вас омуль соленый... этот, с душиком,— следит Игорь за негибкими, толстыми пальцами Пимена Николаича.— Запах мертвый, могильный.

— Дак с первого разу и селедка простая не нравится,— живо вскидывается дед Фомка.

— На что хорошее вкус быстро настраивается,— говорит решительно Игорь, и Пимен Николаич поднимает голову, окатывает его тяжелым, медлительным взглядом.

— Теперь здесь, на Аяе, куда камень ни кинь — всюду люди,— подкладывает дед Фомка Игорю омуля.— А прежде медведь хозяйничал на берегу. Да. Мы его прямо с лодки в глаз, одной пулей...

— Вообще дорога проляжет, здесь, у горячей воды, санаторий отгрохают,— чувствуя сопротивление Гаськова и деда Фомки, упорствует Игорь.— Представляете, современное, белоснежное, прекрасное здание среди девственных кедров? — поворачивается он к Нине.— Люди будут ехать сюда отовсюду, тысячи тысяч, как рукой снимет им боли. Чудесный берег. Представляете, да?

— Представляю,— улыбается Игорю Нина.— Представляю, я же все-таки медсестра.

— Хороша закусочка? Факт,— смеясь беззубым ртом, теперь уже откровенно подмигивает Нине дед Фомка.

— Медсестра, да? — вглядывается в нее Игорь.— Замечательно. Приеду сюда к вам лечиться. Сюда, на природу, на лоно, в добрые женские руки... Здесь пройдет магистраль, вырастут города, построят концертные залы, театры. Представляете, мы все это с вами увидим,— берет он в порыве Нинину руку.

— Сопляк,— разжимает стальные челюсти Пимен Николаич и отшвыривает свежеструганный рожон из-под омуля.— Ты зачем сломал кедровую ветку? Красавицу, с шишками.

И встает из-за стола, проходит берегом, садится лицом к Байкалу, глядит на закат. Сидит и скрипит зубами, словно тащит из доски ржавые гвозди. Игорь никогда бы не подумал, что так можно скрипеть: и за полсотни шагов, через шепот волны, доходит сюда этот скрежет.

— Оставайся, сынок, ночевать,— юлит возле Игоря дед Фомка.— Оставайся, так лучше.

Она стоит рядом с Пименом Николаичем, на взгорке чуть выше его. Игорь искоса видит, как у нее поднимается-опускается грудь. Нина объясняет ему что-то, он ей не отвечает, сбывшись, смотрит на солнце туда, через весь предзакатный Байкал. И Игорь стоит, смотрит на спящую воду, на желтое небо — праздник желтых и синих оттенков.

Пимен Николаич идет решительно к своей «казанке», дремлющей носом на берегу. И Игорь идет, упирается рядом, двигает лодку плечом; босые ноги утопают в песке, песок уходит из-под ног, «казанка» медленно, туго сползает к воде. Дед Фомка кидает в лодку сонных, слабо встряхивающихся омулей, они бухаются о скамейку, соскальзывая, плоско шмякаются о дно. Наконец «казанка» сделалась легкой, закачалась на воде, Пимен Николаич переваливается животом через борт, Игорь заносит ногу. Этаким бесом полоснул в него Пимен Николаич, переходит на корму к «юпитерам».

Игорь смотрит на берег: дед Фомка все еще держит тряпицу, из которой он только что вывалил им омулей, а сверху, по береговой тропке, бежит сюда Нина. Золотые волосы выются-перевиваются, стелются по спине, по ногам, до пят, до земли, и сама она, как русалка, только руки, шея, лицо — все загорело, все темно-бронзово от байкальского солнца, она тянется к ним: возьмите.

Взревели «юпитеры», берег начинает отходить, отходить, синяя полоска между лодкой и берегом ширится.

— Возьмите меня! — кричит она уже возле самой воды. — Возьми меня, Игорь, — умоляет она и дрожит вся от вечереющей свежести. — Возьми меня в город... столицу... мне все надоело здесь: консервы, перловка, тишина... Хочу к машинам, к людям, в театры, возьмите...

Слова ее накрываются ревом, «юпитер» вот-вот сорвется и понесет. Неуловимым движением Нина сбрасывает халатик, заходящее солнце выхватывает из сумерек всю ее острую, гибкую фигуру. И вдруг она делает шаг, еще шаг и входит в Байкал, она идет за ними все дальше, вода уже ей по пояс и выше, все выше, и волосы разостлались, качаются сзади нее по волне. Дед Фомка суетится на берегу, что-то кричит ей. И вот уже только одна, абсолютно яркая точка, с длинным лисьим хвостом, золотеет на синей воде...

— Плыви назад, — машет что есть силы ей Игорь. — Я сам приеду сюда, слышишь? Приеду скоро! Приеду строить и жить, построю тебе здесь больницу, целый город... Плыви назад, какие шутки с Байкалом!

— Не бойсь, здесь тепло, впадает горячий источник. Одной руке холодно, другой горячо, как в квартире, представляешь? — смотрит на него Пимен Николаич значительным взглядом.

— Представляю, — погасает Игорь.

Возвращаются в поселок тем же путем, только Нижняя Ангара теперь где-то справа. Сумерки сходят с гор очень быстро, а на «топляках» нет сигнальных огней. Может, лучше было заночевать? Пимен Николаич сбавляет обороты мотора, поворачивает к Игорю скуластое, отливающее закатом, в рябинку лицо.

— Ну что, студент, будем есть или... так? — достает он и кладет перед собой складной охотничий нож.

— Будем, — отвечает сдержанно Игорь, но твердо.

Из-за горных вершин полоснул и рассыпался желтый всер лучей, колышется над ним закрашек уже по-почному синего неба, протягивает по шершавой воде сюда к ним дорожку. В ее переблеске Игорю показалось на миг, что пальцы Пимена Николаича, словно щупальцы, переплелись, вздрагивают, живут как-то отдельно, окрашенные летучим, красновато-кровавым пламенем.

Молчанье. Сердце сбавляет удары. Последний луч скрывается за вершиной, и здесь, на Байкале, теперь уже настоящая ночь. И тут же невообразимо как далеко, у самой подошвы горы, вспыхивают огни, это поселок, куда они держат курс.

— Да брось ты, — улыбается Пимен Николаич недвижимым своим деревянистым лицом и достает из «бардачка» сахару, хлеба, черпает кружкой забортной воды, нарезает скибки потолще и принимается за привычный, походный байкальский «чай». — Давай-ка подсаживайся, — смеется он Игорю, но глаза, как и прежде, глубоки, непонятны. — А это? — кивает он на нож.

— Возьми на память... или швырни, если хочешь, в Байкал...

Байкальский «чай» ломит Игорю зубы, но потом ничего, привыкается, интересен контраст теплого, сладкого сахара с ледяной, колючей водой.

— Ах, шельмовка, чего выдумала, — качается Пимен Николаич и хохочет теперь уже всюю, размашисто, от души. — Свадебное путешествие, мужа, трехлетнего Волку, даже свекровь — ну шельмовка! Это же вшучка дедова, кантуется с ним весь свой отпуск. Вот кому дед Фома передает свои тайны...

«Юпитеры» работают дружно, моторка летит на огни, как такси, ухо привыкло к шуму моторов, выделяет слова.

— Хорошая девка, нашенская, в самом деле в Байкальском медичка, — как вклещился Пимен Николаич в баранку от «Волги». — Да порченная маненько. Я, говорит, рождена для любви. Про семью она это нарочно, а для чего — не пойму.

Игорю вспоминается источник в скале — горячий берег, весь горячий Байкал, по волне все лежат, все качаются волосы, ее золотые волосы на синей байкальской волне... Проложим дороги-магистрали, построим школы, больницы, театры — это прекрасно, а что останется в людях и от людей, что жили здесь, что живут и сейчас, что изменится в нас?..

Игорь достает из кармана гальку, обыкновенную гальку, которую поднял там, на Аяйском берегу. Какие линии, как притерто все, сколько слоев. Сколько геологических эпох работал Байкал, чтобы выточить эту малышку, создать весь этот берег и ту самую бухту Аяя, где живет сейчас эта девушка, с которой свел его седой и синий Байкал.

Из дома Кирилла Осьминина ушла жена. По-тихому, когда он был на дежурстве, убралась к себе обратно в деревню, еще и записку оставила: «Жить с тобой таким не могу. Остаюсь уже не твоя Галина». Все в доме было в том же порядке, взяла только свои носильные вещи. В душе было пусто, нехорошо.

— Что это значит, с «таким»? — спросил Кирилл самого себя, теперь уже некого было спросить. Со стола, сверкнув огненным шаром, прыгнула кошка, с мурлыканьем стала тереться ему о сапог, и Кириллу вспомнилось все вчерашнее.

Вчера в Кубанковском лесу были массовые гулянья. Ну что ж, отсажались, отсеялись, перед покосом можно и передохнуть. Съехался весь Богородский район, а машины и сехали, и ехали. Вся пожарная команда тоже была на ногах. Осьминину достался самый резкий участок: принимать и расставлять машины. А тут жара еще. Народ, буфеты, столпотворенье. И Галя сбоку при нем да за рукав его: дай, говорит, Кирюша, денег на лимонадик, пить, говорит, хочу. Он еще ей так тихо, обходительно (он ведь смирный, все люди скажут, кричать не в его правилах), он же ей не грубя: ты, говорит, Галя, пойдй к колодезю да и напейся. Ну, она и ушла... в деревню к себе, обратно...

Ну какой он «такой»? Что он хуже других, что ли, чтобы жене от него уходить? Вон другие вчера напильсь, рожу один одному в кровину. И что ж, уходить от них? Их же надо воспитывать или принимать, понимаешь, санкции. А он для своей жены все. Взял ее из большой семьи, из деревни и куда, понимаешь, привел? В дом с

пристенком, на все готовенькое: сарай с топочкой, кухня летняя, малинка, крыжовник, антоновочка... Семилетку угробил на все это. Зарплатенку получишь и в сберкассу бегом, без оглядки. На магазин глянуть боишься: выбьет копейку, за копейкой и рубль просыплется. Вот и сидишь на воде с хлебом. Заместитель начальника Аркадий Иванович, любитель такой, подсмеивается. Что начальству скажешь? Молчишь. А сам думаешь: «В этом деле мы, Аркадий Иванович, с вами не ровня. Вот женеюсь — мне квартирку-то ждать-пождать. Или вон, как ребята, по всему Богородску скитаться»...

Ну, какой он «такой» ей? Ведь дай бабе волю, постромки порвет. Ее задача детей рожать да по дому, по хате, а чтобы глядеть, куда глубже, в основу — так это дело мужичье. Не пускаю деньжонки на ветер, и верно. Для нее ж, Галины, для совместной их жизни. Дом, наконец, купил, а в душе одно лишь страдание. Что за улица? Машины одна за одной, рассадили дорогу, пыль винтом. Ни утенка из двора, ни белья на веревку. И сквозь ставни пыль на стол, на диван, занавески. Одно мученье жене, мыла не напасешься...

Уж другой себе дом приглядел. Против этого — хорошо, а главное — место: на пруд глазами, к лужку. Ну и, ясное дело, стоимость соответствующая... А ей — лимо-на-а-адику... Бабка в этих хоромах одна, вот-вот перекинется, а наследники поприкатят — деньги вынь да положи и не смейся. Вишь, какой он, серьезный вопрос. Бьешься, бьешься за общее дело, а она, жена называется: лимо-на-адику...

Успокоив таким образом рану, Осьминин зажил один. Равномерно, уверенно. Уход жены не смог поколебать взятых когда-то высот. Исходя из этих «высот», он старался спокойнее также принимать к себе отношение сослуживцев. Из мужской солидарности все сочувствовали ему даже больше, чем он сам себе. А тут еще на носу у него, на тюпочке, вскочил огромный фурункул, тянул тюпу в сторону. Осьминин температурил, страдал. За все эти обрушившиеся неожиданно-негаданно беды кто-то из товарищей назвал его «бедуином». Другие сочли это не совсем подходящим, слишком узко для столь широкой натуры. «Смейтесь, смейтесь, — отмахивался от остряков Осьминин, — много вы понимаете». Последующие события дали сослуживцам еще один повод поточить жало.

Группа богородских пожарников ездил для обмена опытом в соседний район. Ездившие после смеялись, рассказывали.

Сделали дело, зашли в столовую пообедать — поужинать. Расселись, заказывают. Осьминин все жметесь в угол, особнячком. Развернул платочек с едой, головой вертит. Несет официантка борщи, подзывает ее:

— Девушка, а свое можно?

Та смутилась, не поняла. А ребята как грохнут, яйца покатались и хлоп-хлоп о пол, раскололись.

— Отчебучил, — умирали от смеха ребята. — Да кто ж с ним таким жить-то будет?

«Жеребцы! С каким «таким»?» — резануло Осьминина, и он отвернулся к окну, уперся лбом в переплет. Смех тут же обрезался. Капал на кухне кран: кап-кап, кап-кап.

— Придвигайся, Кирюшка, — сказал просто Аркадий Иванович. — Давай нажимай на борщ.

«С каким «таким»?» — засело Кириллу в голову, он теперь спал и видел себя в новом доме — хоромине окнами на прудишко и луг, снился сам себе хозяином и человеком. После дежурства летел прямо к старухе — покрутиться, поговорить, потереться: чтоб не дай бог другому кому, уговор, не гневить господ бога. Она угасала, угасала. Угасла. Все произошло точно по плану. Осьминин переселился к пруду, а в его дом въехали какие-то «сахалинцы», Осьминин пошел и взял в магазине бутылку, пригласил кой-кого из сослуживцев. То был его день, его час...

И все-таки он тосковал. По женским глазам, по женскому духу в жилье. Дом был большой, несуразный, с лабиринтом «о семи комнатей». Иногда, особенно в сумерках, ему казалось, как чья-то тень, вроде Галиной, мелькнет в синеватом окне, и тут же в сердце взмахнет и осядет. И тогда ничего не хочется: ни работать, ни отдыхать, ни идти, ни лежать — ничего. С ним так еще никогда не бывало. Всегда была цель, а теперь что? Вот он, весь до гвоздика твой. Хоть рукой погладь филенчатую дверь, хоть щекой приложись к холодному кафелю. Хоть в подвал спустись, хоть гляди из окна левой спальни на пруд. Живи, владей! А радости нет... Приезжала из деревни старуха Осьминина, мать (доживает там век), наклонялась, дышала в него перестоем полынным, подрагивала подбородком: «Женщину сюда надо, детей. На хо-

рошую жизнь. Мы, Осьминины, заслужили. А Галька твоя завербовалась, уехала. Тьфу, дура!»

Вскоре в Богородске случилось то, что вновь придало жизни смысл, схватило Осьминина и понесло. Как-то раз шел он с ночного дежурства немного усталый и вдруг — напротив «Сельхозтехники» — у самой сирени увидел незнакомую девушку. Увидел и остолбенел. «И вроде бы Галя, и гораздо красивее». В чем была ее красота — в золотистых, разбросанных по плечам волосах или в особом, полуприкрытом веками взгляде, — он не понял. Он бы не смог описать словами ее, потому что у него не хватило бы слов, но он видел ее, она стояла перед ним — живая и тонкая, необыкновенная. Он узнал: это была новенькая — зубной врач...

Смутную тень Галины вытеснило в Кирилле смеющееся лицо. Кирилл видел его все таким же, как тогда там у сирени. Оно преследовало его, особенно дома, появляясь на стенах и окнах, на фоне пруда, на кафельных плитках. Жалобно рыпнув пружинами, диванчик выбрасывал его на середину комнаты и все хранил очертание тела, пока гладились брюки, чистились сапоги. Он стоял перед зеркалом: после лета волосы вовсе рыжи, даже белесы, розовато — не загорает — лицо, зато под рубашкой катаются мускулы, само собой, вел несправдливую жизнь...

Вскоре стало известно, что Кирилл записался в вечернюю школу, сразу в десятый. «Добре, добре, Осьминин, — улыбнулся ему на очередном совещании начальник Неделин. — Штурмуй, братец, Монблан. Через год рекомендуем в пожарную школу».

Вскоре Кирилл познакомился с Ганной Васильевной Бельской.

Они жили вдвоем на соседней улице, Ганна Васильевна и хозяйкина дочь Алевтина. Сама хозяйка уехала в город, к сестре, и полностью оставила на их попечение дом наподобие того, какой был у Осьминина прежде: «теремок», фундамент почти на земле, два оконца на улицу и две маленькие комнатки. Делами в доме заправляла рыжая, сильная Алевтина. Она работала через дорогу в пищекомбинате и имела обыкновение приносить со смены в карманах свежие «жамки», бублики или конфеты. Разложив все это по вазам, она принималась за дряхлый, еще дедушкин самовар, приглашала свою постоянную

цу. Та откладывала книжку, подобрала ноги, усаживалась на диван у стола, и тогда они сидели часа два, а то и все три-четыре, до самого вечера, перебирая подходящих женихов, которые здесь и которые в городах, обсуждая их в тонкостях и как вроде подсмеиваясь.

В одно из таких «чаепитий в Мытищах», как называла Ганна Васильевна сидения за самоваром, в окно постучали. Алевтина вылетела за ворота. Входила красная, как бурак, разговаривая с кем-то за спиной таким необычно елейным голосом, что Ганна Васильевна настожила: уж не «жених» ли к ним? В дверях вырос Осьминин — смущенный, весь какой-то потерянный, и она успокоилась. Живо стала усаживать рядом за стол, потчевать чаем и пряниками:

— Пейте, Кирилл Кириллыч,— говорила она мягко, воркующе и придерживала чайничек с заваркой тонкими белыми пальчиками, и смотрела на Алевтину из-под своих длинных ресниц, улыбалась таинственно. — Пейте, это заварка своя, домашняя — зверобой и душица.

«Голубица», — сидел, сгорая от чая, Осьминин и пытался сострить:

— Чья, говорите, душица?

Ганна Васильевна на это только вскинула брови, зато Алевтина закатилась надолго, отсмеявшись, звякнула чашку на блюде:

— Это вы, Кирилл Кириллыч, вы... вылитый зверобой.

И опять закатилась.

— Почему это? — косился Осьминин на Ганну Васильевну, собираясь обидеться.

— А потому, что вы такой... такой желтенький... и пожарником служите.

— А-а, это верно, служу,— успокоился Осьминин и обратился к Ганне Васильевне: — Я к вам насчет ремонта зубов, насчет кой-каких, понимаете... э-э... — И выразительно глянул на Алевтину.

Алевтина с минуту стояла, что-то соображала. Закрыв рот ладонью, выметнулась на кухню.

...Кирилл стал частенько захаживать в «теремок». «Тук-тук» в правое оконце — Алевтина фыркнет и с криком: «Жених пришел!» бежит открывать ворота.

В день зарплаты Осьминин перевозмог себя и направился в магазин. Долго мялся у прилавка, ругая себя и оправдывая, изнывая от собственного безволия, наконец,

махнул рукой и купил шоколадку «Спорт». И отправился на «чаепитие в Мытищах». Шоколадкой (и он сразу это понял) удивить было их невозможно: Ганне Васильевне тоже сегодня выдавали зарплату. Причем первую. Это следовало отметить. Вино попало не ахти какое, но ничего. Осьминин незаметно положил свою шоколадку за торт, сидел и мучился, не зная, как с нею быть. Уходя, незаметно сунул обратно в карман. И, конечно, не знал, что говорила потом про него Ганне Васильевне глазастая Алевтина...

На следующий день занавески и дверь оказались закрыты. И еще через день. И еще. Встречаясь на улице, Ганна Васильевна вела себя так, будто никогда и не знала Кирилла. Тут пошли огороды, и Осьминина закружил, завертел картофельный «бум». Это была его Осьмининская страда, которую он навалил на себя добровольно и которую тянул исправно вот уже несколько лет. Дело в том, что лошадей в райцентре за нерентабельностью свели почти поголовно, за все отдувались машины. Единственным, до чего не могли добраться машины, были приусадебные участки: клочки под картошкой между заборчиками, садочками, сараюшками. Конюхов с лошадьми раздирали на части. «Это же золотое дно», — сообразил Осьминин еще тогда, когда работал слесарем в «Сельхозтехнике». Отремонтировал списанный двигатель от электродоильной установки, с полгода мороковал, клепал, сваривал — получился механический плуг. С того года соседи не знали с огородами горя.

«Ну, хорошо!» — сдержался Кирилл, когда в очередной раз его встретила на окне занавеска. И у него созрел план.

На сей раз он отказал своим постоянным клиентам и обратил внимание на заветную улицу. Как и следовало ожидать, треск его установки вскоре был услышан за занавесками. Осьминин распахивал огород через два двора от «теремка», когда к нему подкатилась седенькая, аккуратненькая старушенция. В старомодной шляпке с цветком, в скрипучих ботинках. Это была хозяйка «теремка», мать Алевтины.

— Вам чего, гражданочка? — приглушил он мотор и склонился над шляпкой учтиво.

— Чего? — приложила к уху ладонь старушенция.

— Чего надо вам, спрашиваю?

— Ах, чего мне? Ну да... чего мне... Огород, милый, надо мне распахать. Ну, пожалуйста, я заплачу.— И она тут же полезла в сумочку, дрожащими пальцами стала вытаскивать кошелек.

«Интеллигенция! — рассердился отчего-то Осьминин. — Еще пальцем не двинул, а уже платить. Может, я тебе черт-те чего наворочаю».

— Мне огород, сынок, распахать надо. Огород, — приостановила движение пальцев старушка.

— Понял, бабка, понял, — сказал он, открывая краник бензопровода. — Ворота пошире да занавески к чертовой бабушке.

— Занавески? Какие, сынок, занавески? — затряслась старушка на вихлястых своих каблуках.

— Ладно, — махнул ей Осьминин. — Ворота отворяй да самовар ставь, я мигом.

— Самовар? Ну да, самовар, — посмотрела старушка в глаза ему и улыбнулась, потянула из сумочки поллитровую белой.

Кирилл работал лихо, во все лошадиные силы. Тарахтел еще пуще, напустил полный двор едучего дыма. Налегал грудью на ручки, загертые до блеска, держал плуг, чтоб не завалить в сторону, не вилял, ехал ровно по борозде. Пот густился на лбу, юрко сбегал по спине, а Кирилл налегал, вкладывал силу, чувствуя спиной, что за ним наблюдают если не со двора, то, возможно, из окон, из сенец. И надавал, надавал, готовый — была б его воля — вывернуть огород рыжей глиной наружу...

— А интересно вы это... Кирилл, — услышал он позади себя голос ее, Ганны Васильевны. Он обернулся, плуг пошел сам, вильнул в сторону, Кирилл кинулся следом и выключил мотор. Стоял и смотрел на нее: ветерок завивал ей за ухо легкую прядку. Золотая вся, золотистая...

— Я смотрела, как вы работаете, — стояла она, улыбалась и смотрела прямо в глаза. — Это красиво.

— Ганна Васильевна... — сказал он, и горло перехватило.

— Зовите меня просто Ганка. Как дома. — Она засмеялась и убежала в дом.

После очередного дежурства он пришел на «чаепитие в Мытищах» с огромным кульком: пряники, самые дорогие, какие только оказались в магазине, целых три килограмма. Сидел напротив, смотрел и гладил шелковистую

руку, шептал о том, как нагрянет зима и белым покроет просторы и он переставит мотор с плуга на аэросани («осталось доделать пустяк»), посадит ее перед собой, словно солнце, и волосы, ее золотистые волосы будут мчаться, стелиться следом по снежной равнине и, трепеща, слепить ему очи...

Украдкой, вроде за своим делом, вслушивалась в его слова Алевтина, и ей почему-то хотелось плакать.

Осьмнини теперь таскал на работу толстые книжки и приставал с беседами, за разъяснениями всяческих «темных мест и пустот», чтобы вечером в «теремке» заводить умные разговоры.

Зима оказалась на редкость снежной, он переставил мотор на аэросани, носился с Ганкой по бескрайним полям, и они были счастливы...

Он столкнулся с ней в том же сиреневом переулке. Она шла с каким-то лейтенантом под ручку: мундир, голубые петлицы и звездочки, золотистые птички.

— Здравствуйте, — поклонился Кирилл им по-деревенски и двинулся в ту же сторону, откуда и шел.

Она нагнала его, шепнула зачем-то: «Это мой двоюродный брат», — и улетела, золотистая птичка.

С неделю сады падали снегом Кириллу в самое сердце. А потом домой к нему примчалась Алевтина. Пришла, оглядела все комнаты, сидела притихшая, грустная, а потом сказала, что тот летчик уехал, и они опять приглашают Кирилла на «чаепитие в Мытищах». И плечи у нее затряслись.

— Ну, что ж, — вздохнул он и положил руку ей на плечо, — и мы станем летчиками.

Этот план зрел в Кирилле давно; но он никак не решался, все откладывал, а время летело. И вот, наконец, решено! Все, что копилось годами и крохами, было брошено в дело. Он извлек из заветного, еще дедова сундука свои прежние прикидки, старые журналы. Свободные вечера проводил он теперь за бумагами, облакая мысль за мыслью в чертежи и расчеты, скрупулезно высчитывая нагрузки и сопротивления. Рассылал кой-кому письма, ездил в город, перетряс весь «Вторцветмет». В последний раз привез оттуда пропеллер — легкий, дюралевый, от спортивного самолета. В сарае Кирилл оборудовал угол, натащил инструмента и пилил, строгал, сваривал.

— Что-то не узнаю этого нашего... пахаря, — завел как-то разговор об Осьминине начальник Неделин.

— Воротничок, подворотничок, все четко, ясно, порядок. А, Аркадий Иванович?

— Влюблен «бедуин» наш, товарищ начальник, — улыбнулся Аркадий Иванович. — В красотку тут... с золотистой косой...

— Как у него со школой, заканчивает? Вот что, Аркадий Иванович: в отделе кадров просили нас... кого бы осенью в пожарную школу? Присмотрись в общем, ясно?

Десятый класс был позади. Кирилл готовился еще к одному экзамену — на летчика. В сарай к себе никого не пускал. Что там делалось, для всех было тайной, правда, никто особо и не проявлял любопытства: привыкли к тому, что Осьминин вечно что-то конструирует и реконструирует. Аэросани преображались у него на глазах. К клепаной дюралевой лодке он пристроил уже обе плоскости, подцепил к элеронам тросики управления, отцентрировал и проверял на месте мотор. Кирилл спешил, выходил из себя, работал до полночи, при свете сильных электрических ламп. Ставить фюзеляж на колеса пригласил койкого на подмогу. Когда поставили, ахнули: самолет! Настоящий, с мотором, пропеллером. Неужели взлетит? Оставалось достать кусок плексигласа и, нарастив ветровое стекло, сделать кабину.

Кирилл осунулся, похудел, говорили, что это его делает юношей. Он достал где-то кожанку и ходил в ней после дежурства. Без конца проверял мотор и управление, едва сдерживал улыбку, смысл которой был понятен лишь ему одному. Для жизни, для собственного уважения требовалось немногого: оторваться от земли, пролететь хотя бы той улицей, над тем «теремком»...

Он поднялся с рассветом. Завел мотоцикл. Подцепил самолет и двинул по безлюдной дороге в поле. Он давно приглядел этот луг меж увалов у соседней деревни — не коряв, достаточен для разгона, трава выбита стадом.

Первыми увидели его пастухи и коровы. Пастухи — белобрысый мужичок с таким же белобрысым мальчуганом лет тринадцати — подошли и долго осматривали Кириллово сооружение, видно что-то соображая.

— Спортсмен, что ли? — наконец спросил его мужичок.

— Ага, — кивнул, копаясь в моторе, Кирилл.

— Тут еще один анадьсь сядилса, — тронул крыло

мужичок. — Планерист, говорит. Запорхнул с каких-то соревнований.

Но Кирилл не был склонен к разговору. Он ждал, когда над землей покажется краешек солнца, чтобы подняться и лететь на него, восходящее, на поселок в синей дымке, над тем «теремком».

— На казенном самолете дело не хитрое, — взглянул Кирилл на пастуха и подмигнул пастушонку. — Ты попробуй на этом.

Показался краешек солнца. Кирилл разогнал на него свою крылатую лодку и оторвался от земли, полетел. Он даже растерялся, а потом обрадовался, когда увидел прямо перед собой с высоты деревеньку, еще дальше речку, за речкою Богородск, ту самую улицу, и тот «теремок». Он летел, чувствуя крылья. Ради этого стоило жить...

Самолет плюхнулся носом в плетень. Завыли, заголосили собаки, раздались испуганные голоса. За сады сбегалась вся деревенька.

Его вытащили из-под обломков. Он стоял бледный с синяком во весь лоб, улыбался.

— Я ж говорил, — шевелил он кому-то спекшимися губами, — укрепить надо правую стойку, а еще инженер...

Он зашел в соседний двор, набрал охапку пионов — белых, розовых. Если бы закричали или спросили, зачем, он бы ничего не ответил, и сам точно не знал, зачем и кому. Он шел, чуть прихрамывая, в своей кожаной куртке, по той самой улице, когда его нагнал Кадилов из пожарной охраны:

— Слушай, Осьминин! Тебя ищет начальник.

В дежурке было полно народу.

— Тебя ждут, — показал глазами на лестницу шофер Потапов.

Осьминин сунул букет в чьи-то руки, все так и грохнули.

— Ну, вот и наш летчик, любуйтесь! — поднялся из-за стола Неделин. — Теперь у нас своя авиация. Перейдем на серийный выпуск самолетов, запрем дежурку, пусть пожары дома косят, а мы будем летать... Верно, товарищ Осьминин?

Осьминин увидел множество лиц и опустил голову.

— В общем, так: самолет — или как его там — уничтожить! Чтоб и следа не осталось... Не дай бог до началь-

ства дойдет... А с этим пахарем и не знаю, что делать. Тоже мне! Рожденный ползать...

— Летал же, товарищ начальник, — Кирилл тоскливо смотрел за окно.

— Ну артист! Что мне делать с тобой? — заходил Неделин по кабинету. — Шею намылить, наконец, уволить? В общем так, товарищ Осьминин. — Неделин остановился и положил руку ему на плечо, усмехнулся: — Мы с Аркадием Иванычем тут посовстовались да и вот товарищи журналисты... подсказывают. Если у тебя мозги так работают, ход им надо давать. Верно, товарищ?.. Так вот, рекомендуем тебя в нашу пожарную школу, там, голубчик, себя и проявляй.

Не помня себя, Кирилл мчался домой. На пороге его встретила простоволосая Алевтина.

— А говорят, с вас, Кирилл Кириллыч, снимают стру-ужку, — сказала она и заплакала. Она говорила что-то еще, слезы обильно текли по толстым щекам.

— Алевтина, — смотрел на нее впервые серьезно Кирилл. — Идем, Алевтина, ко мне. Ну, идем...

Часа полтора длилось у них «чаепитие в Мытищах». А когда вышли наружу, солнце уже заходило. Над Богородском висела тонкая пресная пыль. За перекатом, в затоне, грустно турлили тритоны. Им отвечало мычанье коров. Верхней улицей по булыжнику проколотила машина. «ГАЗ-69», — отметил машинально Кирилл. Они вышли у пруда, где беспокойная река, сделав петлю, возвращается в поселок обратно. Солнце падало в степь, кто-то стоял на высоком обрыве, какая-то женщина. На плечах у нее золотились длинные волосы. Такие длинные, что могли бы дотянуться до речки и поплыть, расстелиться вниз по течению.

— Мне бы надо было отсюда, с обрыва, — вздохнул Кирилл. — Сколько воздуха набралось бы под крылья — до самого «теремка».

## Танцующий Шива

В глаза Матвея Ильича звали полным именем, хотя в деревне многие были и старше по возрасту, и образованием выше, на соответствующих должностях. Правда, должность механика тоже кое-что значит, когда хочешь, чтобы трактор давал зарабатывать на хлеб. Дар механика у Матвея Ильича — от природы, говоря словами его супруги Тамары, главного и единственного врача участковой больницы, «в нем заложен в генах». Последние четыре года Матвей Ильич выезжал регулярно на заочные сессии в техникум, но знаний диплом ему не прибавил.

Все соседи уши прожужжали, что жена из него веревочки вьет. У каждого свое мнение, своя на все и линия. Тамара лет на восемь моложе его, миловидна, полновата, правда, некоторые ехидничают, дескать, полторы бочки на полтора бока. Зато он похватист, идет по улице, как бы пританцовывает, это оттого, что одна нога у него покорооче другой. В юности случилась болезнь в коленке, с того нога немножко не доросла, присохла. Вот и ходит, правую подтягивает, научился ходить, не заметишь, только чуть пританцовывает да руками, когда говорит, мотает, за что еще в школе и вlepили ему Танцующий Шива.

Сначала Тамара жила у них на квартире; внешним видом и серьезным подходом он ей понравился, за что он был ей благодарен. Так и жили они уже пятый год, но пока без детей, Тамара говорила, что надо пожить для себя.

Все домашние дела Матвей Ильич делал сам. С курами, по огороду, насчет пилки-колки дров. Томочка, сядь. Томочка, посиди. На то свое соображение: руки у врача должны быть чистыми, неисшершавленными, неизрезанными углем. Вот и сейчас Матвей Ильич решил устроить супруге сюрприз: приедет она со своих курсов из города, а квартира как конфетка. Живи!

Ключи от квартиры Каргопольцев, директор совхоза,

вручил ему с месяц назад, когда Томочка уже была в областной больнице на терапевтических курсах. Прилетала на самолете, осмотрела квартиру: не новая. Ну, не новая, а чего фыркать. Пожил в ней главный ветврач каких-то шесть лет, теперь в области ютится, говорят, в комнатушке. А окна какие — огромные, в сад. А площадь какая — волков гонять, аэродром. Ну, конечно, жили люди: кое-где подобшарпалось, подтекло. Понятное дело, отремонтировать надо, привести в божеский вид, по своему разумению.

Весь этот месяц Матвей Ильич жил как во сне. На работу идет — думает, с работы придет — тоже думает. В постель холодную заберется — опять наплывают мечтания, как он ее, эту квартиру, в конфетку превращать будет. Ведь своя, своя квартира. Сроду угла своего не имел. Всю жизнь прожил с матерью, братьями, а когда женился, выделили им с Томочкой спальню. Ну что эта спальня для главврача да и просто для женщины? Книжки некуда положить, косметику некуда поставить, одно сплошное стеснение. А то квартира своя! Расставляй все, куда хочешь. Гуляй по всем трем комнатам, кухня четвертая. И с мамкой у Томочки будет больше ладу, в гости станут друг к другу ходить, врозь оно как-то дружнее.

Матвей Ильич лежит в спальне и порой так намечтается, что не заметит, как подступит рассвет. Принес главный инженер Ракитский ему стопку заграничных журналов по архитектуре. Целую ночь в спальне у Матвея Ильича горел ночничок...

Прямо из мастерских он отправлялся теперь на Синявинские Выселки, к мельнице. Приятно было обглядывать вешницы, подмечать, как набухли почки в раките, как вздулась речка Аленка, лед качнулся, кое-где оторвался от берегов. В нос шибало талой землей, духовитой неуловимостью проснувшейся коричневой вербы. Возле Синявинских Выселков всегда рано подсыхало, здесь уже хлопотал Меняйло, комплексный бригадир, а братья Сбитовы перегнали свои дизели, и Матвей Ильич еще раз и с большим удовольствием на виду вербника и синявинской мельницы оглядел трактора, погладил шершавой ладонью их гладкие, литые бока. «Ах, какой хлеб, какой будет хлеб!» — глядел он в отталые просторы, полные снеговой влаги, уходящей нынче удачно, полностью в землю.

— Все блудишь, Матвей Ильич?— появляется на «козле» директор совхоза Каргопольцев и любопытствует: — Уже переехал, Матвей Ильич, в квартиру-то?

— Пока еще не отремонтировал, Самсон Сидорыч,— отвечает механик, и ему приятно говорить о квартире с директором.— Как в сказке хочу. Ищу флору и фауну...

— Ну-ну, ищи!— улыбается директор.— Скоро жена-то приедет?— И не дождавшись ответа, поддает газу, срывается в поле.

План у Матвея Ильича созрел постепенно. Квартиру он оформит так, как велит мать-природа, к чему тянет душа. А последнюю комнату, спальню, он отделает по-особому, Томочке это непременно понравится. Ни у кого так не будет, как будет в квартире у них с Томочкой. Ну были они с ней как-то раз на Октябрьскую у директора — ковры да ковры, телевизор, был у главного инженера — картины, картинки по стенкам да ящик на ящике. Тесно, все поджато, а вот у него будет сквозисто, просторно — человеку, как птице...

И Матвей Ильич начал действовать. Согласно плану, стал закупать краски, белила. И сам ездил в райцентр. И ребят просил — те за запчастями катались аж на Украину. И сестрице Шурочке написал в город, пришли, дескать, краску особую, только там у вас, в городе, возможно, и есть — голубую и травянистую. Заказы выполнялись, банки на верандочке скапливались, и Матвей Ильич все ждал, не мог дождаться того часа, когда все материальные ресурсы будут сосредоточены и он сможет наконец приступить к исполнению.

Исполнять он решил сам, без какой-либо помощи. Как солист в хоре, в котором по молодости пел, помнится, «Коробейников». Какая песня! Когда на районном смотре им присудили первое место, а его отметили специальным дипломом, им гордилась и Томочка. Как она смотрела на него, как шла под руку с ним до автобуса! Перед всеми людьми, высыпавшими из Дома культуры. И шел он тогда, позабыв про ногу — причину всех его страданий, всегда держишься с нею, как гвоздь, чтоб не тянулась вслед, не подволакивалась, а тут не шли, а летели вместе со всеми своими, под руку с Томочкой к автобусу, чтобы скорее, скорее домой, остаться наедине... Да, это было давно и недавно. Пять лет назад, когда Томочка была у них еще квартиранткой...

И Матвей Ильич приступил. Он стал появляться в мастерских то с каплей масляной краски на брюках, то пальцы в краске. Иные ребята улыбнутся понятиливо, иные в спину ему, чтобы слышал: долго, мол, Танцующий Шива будет малярничать? Больно нетерпеливы, спешат промочить горло на новоселье. С такими, у которых теплое душевное движение, можно и посоветоваться: как и что, какая краска на какую ложится, что надо, чтобы полы не скрипели, как пришить плитуса. Каждый скажет по слову, у всех вместе какой опыт, одно слово — народ. Сам чего-то недошурупишь, потом, с расстояния, глянешь — люди правы, у людей, когда они вместе, на все своя историческая мерка, свой стратегический ход.

Начинает Матвей Ильич с главной комнаты, где быть телевизору. Водит красной кистью по стенке, а сам переживает все связанные с этим колером будущие картины, думает об односельчанах — о каждом враздробь и о всеобщей слитности. Прекрасно их родное село. Если взглянуть на историю, Безобразово — это еще по старым, волостным картам. Теперь у него новое, красивое звание — Знаменка. А то вон куток один был Нахаловкой, а другой — Хулигановкой, а вместе — Безобразовкой, стыдно.

Переходит Матвей Ильич во вторую комнату — со столом письменным, с книгами. Здесь у них с Томочкой, как у Самсона Спиридоныча, кабинет будет. Водит Матвей Ильич зеленой краской по стенке, и такая в нем любота, такое мление перед апрельской землей. Выводит нужным колером ветку и видит, как оживают вешние тополя, как сердце обволакивает зеленая дымка; а на другой стене уже лето, тополя набрались листвы, важно, медленно идут коровы, полные молока. «Вот жизнь, — думает Матвей Ильич, — вот такая она бесконечность. Неостановима. Мы есть на свете, а уж дети за нами, а за детьми еще дети... Как же можно потянуть руку к кнопке, чтобы на клейкие листья, на запруду у мельницы, из которой высовывают красные рты караси, на детские головенки вдруг посыпался пепел? Кто он будет — такой человек? Нету имени ему человеческого».

И на четвертой стене, у печки, за буреющей зеленой сада — клочок аспидно-черный, своя, родная стихия: дизели Сбитовых ворочают плугами под зябь Синявинский чернозем, и тут же сбоку стоит Сам-

сон Спиридонич, директор, говорит что-то братьям...

Три дня Матвей Ильич не знал, как к этой комнатке подступиться. Колер раз десять на заборе испробовал, смешивал-перемешивал краски. Комнатка квадратенькая, в сад оконцем, в окно тени от яблонь — зеленое по голубому. Выводит Матвей Ильич стенку за стенкой, словно плывет поднебесьем...

Томочка заявила со своих курсов ночью. Из райцентра ее привез на «Волге» сам Самсон Спиридонич. Высадил, подмигнув Матвею Ильичу и тут же умчался, в хату заходить не захотел. Мать Матвея Ильича, увидев Томочку, всплеснула руками, захлопотала, Матвей Ильич смотрел, как ест жена, и думал, вот завтра он ей представит сюрприз: вся квартира, как сказка, вот Томочка изумится, бросится на шею, будет идти с ним по всей деревне под ручку, как тогда, радуясь и гордясь...

Наутро он вел ее к себе в новый дом, как какую царицу. Шел по всей центральной усадьбе степенно и важно, предвкушая ближайшее обоюдное удовольствие.

— Мое почтение, — весело кланялись им братья Сбитовы.

Сегодня у ребят праздник: на синявинской вешнице первая борозда, а Матвей Ильич помог подготовить им технику. Уж кто-кто, а они, братья, знали о Матвеевом сюрпризе, прожужжал он все уши им в мастерской. И только Матвей Ильич кой от кого слышал шепот в спину: «Опять Шива затанцевал»...

Матвей Ильич долго искал перед верандой ключ, чтобы Томочка успела оглянуть их полдомика, половину двора, сарайчик и огородик. Чтобы заметила и собачью конуру, в которую он пока только вбросил цепь, собаку они заведут. Наконец ключ нашелся, и Матвей Ильич распахнул двери, дал ей первой ступить за порог. Она ступила не без любопытства. Он следил за выражением ее лица снисходительно, наперед зная, какой сейчас будет эффект.

И вдруг лицо ее перекошилось, все стекло вниз к подбородку, по щекам пошли пятна.

— Ш-шо это? — сказала она осекшимся голосом, взвизывая в пурпурные стены большой комнаты, где должен стоять телевизор.

И вдруг бросилась во вторую, зеленую комнату, и остолбенела.

— А трактор зачем?— с трудом выговорила она.

— Сбитовых трактор-то,— пояснил он охотно ей.— Им доверено первую борозду.

— А если я операционный стол сюда притащу?— шептала она громко, как-то зловеще.— И вот тут вот, в уголочке, поставлю. А вот тут регистрацию посажу. А тут всех больных.

Плечи у Матвея Ильича разом опали: значит, все это плохо? Все, все, все? И эти красные стенки, и вот эти зеленые? С тополиными почками, с мельницей у запруды, за которой тянулась по вешнице первая борозда?.. Матвей Ильич весь обострился, как лезвие топора, что же дальше-то будет. Со спальней обходился особо, две недели возился, сколько колеру перебрал, картинок перевертел, даже бригадира Меняйло, опытного насчет этого человека, приглашал, тот советовал.

А она как вошла в спальню, так локтями на стол и упала.

— Ой, умора-а-а,— хохотала она. — Ой, умру-у-у...

И большое, полное тело ее сотрясалось, и Матвей Ильич стоял перед ней как-то глупо, как-то жалко было глядеть на все эти поднебесные стенки, на голубые пространства и белокипящие ветки майских садов, во глубине которых таились клювы в клювы голубок с голубицей. Он смотрел то на них, то на жену, как она хохотала, причитала словами, смысл которых сейчас не вполне доходил до него, и плечи его начинали подрагивать, а сердце сжиматься и разжиматься, делаться маленьким, и вот уже плечи дернулись, сотряслись, ходуном ходило все его легкое, птичье тело...

Шаг у Матвея Ильича становился тяжелее, с усилием. Идет по селу, а нога подволакивается, тянется следом, нет уж легкости той в походке, за какой-то месяц оттаивался.

Приходили соседки к его матери:

— Снохе-то твоей и квартира не такая, и ремонт не такой. Царские палаты ей. А уж уступчив твой перед ней, уж вода.

— Да ну вас к врагу,— пугалась соседок старая и, спохватившись, бежала от греха в сенцы, к курам, а из сенец в сарайчик, к овечке, а из сарайчика на огород.

Матвей Ильич упразднял свежую краску и очень страдал. Своей рукой изничтожать! Первым делом осво-

бодился от колера в большой комнате. Три раза смыл, а после обтер сырой тряпкой голые стены. А когда побелил, подумал, что теперь у них будто в больнице. И в этом стал искать смыслы и преимущества: просторнее вроде как, на окна, на стены-комоды можно вешать всякое-якое, белый цвет под любое.

К братьям Сбитовым он прицепился за какой-то пустяк. «Во, Матвей-то... того»,— вертанул у виска пальцем один из них и рванул с места дизель, уехал. Теперь Матвею Ильичу было легче смывать со стены его агрегат. А вот на спальню рука не налегала. Всю субботу, все воскресенье до самого вечера протолокся он: то в спальню, то на веранду выйдет, то домой к матери за каким-нибудь пустяком. Наконец приступил. Смыл первой водой, увидел рыжие, в пятнах стены, сроду не матюкался, а тут прорвало. А потом как пошел шуровать второй, третьей водой, только ведра подтаскивал да оттаскивал. Заканчивал все уже при электрическом свете.

Спальню Томочка выбелила сама.

Перевезли кое-что: что мать дала, что купили в сельмаге, старый списанный шкафчик Томочка привезла из больницы.

— Да я про что?— говорила примиряюще Томочка.— Что ты видел в жизни, что понимаешь? Видал, сколько стало всяких вещей в магазине? Не успеешь болоньевый плащ износить, как уж тканевый в моде. Купишь тканевый светлый, а уж носят темнее...

— Носят темный,— сказал Матвей Ильич равнодушно.

— У врача должен быть модный плащ, модная прическа, оформлена, наконец, модно квартира. Больной больше верит врачу...

— Больше верит,— непонятно мотнул головой Матвей Ильич.— Если у меня штаны ватные, а не белые, модные, я дизель Сбитовым хуже отремонтирую.

Матвей Ильич вышел наружу. Привыкал к темноте, долго стоял, слушал апрельскую ночь. За рекой блеснула сигарка, у моста, под деревянными сваями, шлепнул плоским боком о плоскую воду карась. Далеко-далеко, как в юности, на буграх, всплеснула гармоника, и что-то в груди качнулось, оборвалось, в глазах просыпались звезды. Махнув на все, Матвей Ильич побрел к братьям Сбитовым — разудалым, самым трезвым из всех мужиков,

И кто дал ему такое название — Доброе Начало? Хутор, каких, пожалуй, не одна сотня у нас в срединной России, а вот манит он то ли своим добрым именем, то ли здешней благодатью: пойменным укосистым лугом с рыжими будылями щавеля и кровяными от земляники буграми, слабоструйною речкой Сосенкой с моткими окуньками, снующими по причесанной течением шелковистой траве. А какие сады здесь, соловьи, тополя! Припетляешь сюда по ржи тропкой от мельницы, сядешь на жернов, вросший в землю у приречной околичной хаты, — уходить и не хочется. Сидишь час, а то и два, пока не привлечет внимание одинокий упорный стук топора. Тогда и пойдешь на звук.

Хата за хатой взбирается хутор на длинный взгорок. И по бокам кое-где зияют заросшие лебедой и крапивою плечи — брошенные усадьбы. «На село съехали, — догадываешься, — а то, может, и в город». А стук топора все ведет и ведет — на самый вершок. Тут-то и остановишься, переведешь дух и оглядишься. Далеко видать отсюда, аж за излучину, где белеют домики — центральная усадьба колхоза.

Свежими венцами высветляется за сиренью сосновый сруб, перед ним еще горка нетесаного кругляка. Наклонившись, плотник гонит с бревна щепу. Что-то в нем самом, в его действиях кажется странным. Когда он разгибается, вытирает пот со лба, не выпуская из руки топора, все становится ясно: у него одна правая, левый рукав пуст и засунут за пояс штанов. А рубаха без единой пуговицы, подпоясана пеньковой веревкой, ноги, в самодельных шерстяных носках, обуты в калоши-шахтерки,

Сам плотник среднего возраста, тощ и длинен, но жилист. Волосы на голове спутаны и темно-русы, а брови лохматы и седые, глаза мелкие, но не злые. Широкими ноздрями он жадно хватает воздух и выдыхает его тяжело, с присвистом. Отдышавшись, он подводит под отесанную лесину ременные вожжи, перебрасывает вожжу на плечо и, пригибаясь к земле, подтаскивает лесину к срубам. Под рубахой у него бугрятся мускулы: лесина покорно ползет за ним по щеле.

Потом он принимается за мудреную операцию по подъему дерева на верхний венец. Поднявшись по лестнице, подтягивает вожжой один конец бревна. Пройдя ввысь, бревно упирается краем в проножку лестницы, и ни с места. Препятствие это для плотника, видно, привычно. Он достает из кармана запасенный на случай гвоздь, молоток и, изловчившись, пытается прибить вожжи к верхнему венцу, чтобы дать свободу себе, слезть маленько пониже и столкнуть лесину с затора. Но гвоздь, взвизгнув под молотком, падает вниз.

Плотник долго стоит в размышлении. Потеря гвоздя, очевидно единственного, ставит его в тупик. Пораскинув мозгами, он опускает вожжу, а сам слезает за гвоздем. И все повторяется.

Тут-то и приходит пора удивиться: неужто один все это, одною рукой? Да кто ж еще! Привык уже. Руку потерял на мельнице, где работал когда-то с мельником. Жерновами и прихватило... Водрузив наконец лесину на место, садится в тень, под сирень.

— Семе-е-ен,— кричит ему кто-то с дороги,— Семен, а Семен!

— Тимофей,— оживает плотник, и глаза его от удовольствия прячутся внутрь, за лохматые брови.

— Помогать пришел тебе,— появляется во дворе на своих коротких ногах Тимофей. — У-ух, жарыща! — утирает он обильный пот на лбу, на щеках, на груди.

— Ишь ты, шею себе нажевал,— Семен встречает ворчаньем приятеля, но живо отодвигается, дает ему место.

— Я бы еще на той неделе пришел, да совсем закрутился,— Тимофей говорит быстро, словно спешит сказать сразу все. — То в район — то из района, то на склад — то со склада. Все Тимофей да Тимофей в разных видах. Без Тимофея правление не может... А на ра-

ни бегу мимо Петьки Лудилы — гляжу, голову ясеню пилой отсобачил и стоит, обдумывает: как это солнце будет теперь к нему на огород? Дурак, говорю ему, соображать надо, ты бы сначала обдумал, а после пилил.

— Рассказал бы лучше, Тимк, что там в миру делается, — останавливает Семен приятеля.

— В районной так сообщают: за границей бомбы взрывают — солнце, думаю так, охлаждаивают.

— Да пет, я серьезно. Ты мне скажи, что там в правлении.

— А что в правлении... Кладовщик Митрофаныч кричит вчера на правлении, я, мол, кристаллический человек, а сам, ясное дело, первый нахал в деревне. Я, говорит, предлагаю яблоки нынешней осенью везти продавать на Кавказ. Потому как наше яблоко ценное, а у кавказского шкура рябая и толстая, как у хряка. А председатель ему: ты иди-ка, дьявол, пропись, а то шкуру с тебя самого...

Веселый разговор с приятелем, видно, нравится Семену, глазки Семена становятся маслянистыми, лоб потихоньку разглаживается, становится выше.

— Ты, конечно, мужик не дурак, — достает «Казбек» Тимофей и, не замечая протянутых Семеновых пальцев, говорит хитровато, вроде бы вскользь: — Три иждивенца сидят на моем портсигаре: я, бригадир да щедрость моя... Так вот, не дурак ты, говорю, — голос Тимофея становится тверже, глаза теперь смотрят на Семена пронзительно, строго, — а только одно мне неясно: до коих пор ты, Семен, будешь угибаться в сторону? Почему ты все мимо колхоза? В сторожа бы хотя. Оно б и тебе помощь, не рубил бы вот так, с одним крылом, хату.

— А мне от колхоза, как от твоего портсигара, — отвечает Семен вразяжку и отводит взгляд, покашливает в кулак: — Мне сейчас лесок нужен. А в колхозе и самим в зубах нечем поковыряться.

— А, что ж, по-твоему, в колхоз все с неба валится?

— За общественное радсешь, а у самого сарай, гляди, скоро завалится.

— Потому, может, валится, что на колхоз стараюсь.

— Ты мне голову свою не приставляй! — сжимает скулы Семен. — Колхозу не интересно, чтобы я строил хату на хуторе. А мне интересно бросать наш чупахинский корень? Тут-то мы с ним поврозь. Понял?

— Ну, жисься, рви пупок, тяни в одиночку. Жди, когда Настюха тебе и второе крыло-то подрежет.

— Ты это на что намекаешь?!— поднимается Семен неожиданно резко.— А ну, давай катись к ядерной феньке отседава! Ты это про какие такие последствия мне? Все про булгактера, про Болховнина? Радетель!

Тимофей поднимается, стоит перед Семеном глаза в глаза.

— Я— что, за что купил... Любой человек, Сеньк, скажу тебе, по своей натуре свободен,— говорит он тихо, примиряюще.— Спину ему обязано гнуть только в утробе матери. А ты вот всю жизнь свою уложил на свой пятис-тенник, ничего сквозь него не видишь. А чего злишься на всех? На себя злись, себя и казни.

Весь вечер Семен пьет самогон. Сбивая вишенье, спускается по хутору к речке, к Настюшиной хате.

Ночью, проснувшись, он свешивает ноги с постели, сидит с минутку, бездумно прислушиваясь, как дышит во сне рядом Настюша, как свистит — высвистывает носом сынишка Сергунька, как тоскливо верещит где-то на печке сверчок, сидит и морщится Семен, сглатывает икоту. Поскребывая в затылке, сползает с постели, шлепает босыми ногами к двери и, вода сухим языком по шершавым губам, ищет в темноте деревянный корец и ведро, а нащупав, пьет крупными глотками, с прибулькиванием тепловатую, нагретую за ночь воду. Стаскивает с гвоздя телогрейку и, пригибаясь, чтоб не рассадить лоб о низкую притолоку, толкает дверь от себя и как есть в исподниках выходит через сенцы наружу.

А на дворе тихо, и нет уже той черноты, что бывает в безлуние задолго до рассвета. Млечный Путь стряхивает с себя падушие звезды, и они летят плавно и медленно, пропадая уже возле самой земли. «Благодать-то какая», — размягчается, словно впервые видит все это Семен и глотает, глотает свежий предутренний воздух.

Отворяет плетисвую дверку, выходит за огороды и идет чуть пробитой стежкой в луга, с непонятной радостью различает в брезжущей серости, как, натекая от низин и от впадин, от речки, тонкая, неуловимая дымка сслаивается в туман. Семен наклоняется над замшелой колодой, где обычно поят скотину, видит в спокойно стоящей воде слегка померкшие звезды и долго стоит, ис ре-

шаясь разбить своими ссохшимися губами их золотой покой.

А потом его тянет к берегу, он взбирается на огромный валун, наклонившийся наполовину над речкой, и, швырнув под себя телогрейку, ложится и смотрит на волны, вяло и туго размышляет «про жисть». Что-то начинает беспокоить его: Семен примечает неподалеку от камня буруны, вчера их не было, стальная вода крутит в водовороте солому, гусиные перья, тальник — все, что плывет по реке.

«Намедни был ливень,— догадывается Семен.— Полой водой, должно, и высадило бурчагу. Лежище сазану...»

И опять сбивается на мысли «про жисть», Помирал батка, наказывал: «Из мужиков, Сенька, один остаешься в дому. Блюди наш чухахинский корень». А как помер, все пошло вкривь и вкось. Сестрам — что: завербовались, разъехались. Звала, правда, его, Семена, к себе в Москву младшая из сестер Ксюша. «А что мне там? — возражал ей Семен.— Ну, по кинам похожу, покатаюсь по метрополитеню — это слово он говорил как-то мягко, по-деревенски, похоже на близкое ему слово «плетень», — а дальше Семену что? Деньжонки раскассирую — и в Доброе. Не нравится мне там, в городах-то. Людей дюже много, дома здоровенные. А здесь кто Семен? Царь природы. Гляди, кругом как просторно...»

И остался Семен, словно перст, вековать в своей кате. В армию даже не брали его, слабогрудого, девки обходили его стороной. И оно б ничего, только грустно, так волнительно делалось веснами. Уж не мог спать Семен с закрытыми окнами, распахивал их в лунный орешник, подступающий к бревенчатой стенке с другой стороны, и лежал, замерев, и слушал, как вызвенивает, едва распустившись, орешник, как изводятся соловьи. Фыркнет лошадь в ночном где-то на ближней поляне, хрустнет ветка под запоздалой телегой — все к нему, все к Семену в окно; и качались, тонули те звуки у самого сердца. «Все продам,— шептал Семен в сладком порыве,— сапоги, годовалую ярку, а гармонь себе справлю. Хромку...»

А оно повернулось по-иному. Брат отцов позвал его к себе в помощь на мельницу. Научил его и мучному делу, и всякому. Человек, говаривал дядька, сам себе голова. Сам себе в кошелек рубля не положишь — никто в шапку

и копейки не кинет. С той поры и сидит в Семене думка о пятистеннике на родном чухахинском корне, о пятистеннике светлооконном, вольном, бревнистом, с верандой, о каком батя и не мечтал. Дом бы, может, уже и стоял, если б не это вот, не с рукой. «Куда да кому я такой?» — вбивал себе в голову Семен после случая и мучился, ожесточался, делался на себя не похожим. Вот и с женитьбой... Сколько ни сиживал он перед хатой на обрубке ракиты, сколько ни шурился против солнца на центральную усадьбу, куда вечерами убегали в колхозный клуб девчата с Доброго и откуда в погоду иной раз доплескивалась радиола, сколько ни думал Семен о Прониной Зинке, а прибился к вдовой Настюше.

Как-то вышел в орешник он на осиные звени косы, увидал в травостое за мужицкой работой бабу — Настюшу Карпухину. Сильную, с заголенными икрами, в высоко подоткнутой за пояс вельветовой юбке. Притаившись по-за крушиной, все глазел, задохнувшись, пока не заметила, не рассмеялась в сахарные уста. А потом отпирала ночами, встречала самогонкой да ласками, висла под утро у него на плече, оставляла хозяином. Наклонился Семен, куда дунуло, перебрался к Настюше. А родовую хатенку, приехав, продали сестры на своз, и осталась на макушке деревни от чухахинского корня пара старых ракит да груша, да обгнивший колодец, да крапивная заросль на месте завалинки. Да растравливали душу Семену свои же, доброначальские, судачившие про дурного хозяина, сглупу вышедшего к бабе во двор.

А теперь еще Тимофей травит душу колхозом.

Затихая, Семен вытягивается на телогрейке.

— «В примаках... В примаках... В примаках», — переплескиваются под валуном серые волны. И пенятся, и ехидно шипят.

— «Вот построю дом... построю дом... построю...» — в тон им отвечает Семен. Недаром уже третий год, как рубит он пятистенник на своем чухахинском корне. На себя одного и надейся, люди — брызги, прижарило солнце — и нет их, как-никак срубит дом и снова будет все ладно, не окончится род их чухахинский. А Настюшину хатенку не велик грех и бросить...

Так за думками не заметил Семен, как натащило туману, молоком залило и берег, и камень валун, и его самого — Семена. Растворилось все в мягкости, сгладилось.

Хорошо бы вот так вот, как в вате, всю жизнь — не толкало бы, не било, не швыряло бы, как за стеной. Голова у Семена наливаются гулким свинцом, усталость вконец смаливает его и плывет он, плывет по течению — к своему далекому счастью...

— Семен, а Сем-е-е-ен!

Он с трудом отрывает помятую щеку от зернистого камня: туман уже расступился, на бугре кто-то в красном отчаянно машет рукой. «Настюша, должно», — равнодушно решает Семен и наклоняется за телогрейкой.

А утро в разгаре. Солнце словно бы разломилось — половина его упала в пеструю речку, половина закачалась меж кучевых облаков. Семен вышагивает своей гусиной походкой, размахивая рукой, забирая, как заяц, в сторону, блаженно жмурится, чужа худыми торчащими из-под рубахи лопатками солнечное тепло. У замшелой колоды приостанавливается, смотрится в воду, как в зеркало, видит свои давно небритые щеки, суется в студеную воду, разбивая губами и носом собственное отражение.

— Срамной! — поставив руки в тучные бедра, набрасывается на него Настюша. — В исподниках теперь удумал шататься. Зальет, паразит глазищи, не знает, что и вытворить! Уйду от тебя на центральную, слышишь? Не молоденькая, по пять километров туда-сюда... Квартиру дают там в стандартном.

— Хватит зарю языком обивать, — Семен говорит вроде бы равнодушно, лениво.

— В сарае нынче почистишь, да сюда гляди, не пяль бельмы на речку! — свиньям замесишь, гусям дашь, корову в луга. А мне нынче некогда, у нас на ферме квартальный отчет. — И, мотнув красным штапельным сарафаном, Настюша по деревянным мосткам загромычала на тот берег.

Семен стоит, скособочившись, до боли сдавив голый пяткой ком пересохшей грязи, а внутри закипает, хлещется ярость, и сыреет от поту рубаха, сатанеют глаза. Так бывает теперь с Семеном, так бывает. И тогда больше всегдашнего ненавидит Семен себя самого, пришитого накрест к хозяйству, ненавидит всю эту животину, от которой полопались пальцы. И тогда злее, ожесточеннее начинает работать Семен там, на вершке, на своем чухинском корне. А Настюша примечает это, принимается по-другому.

— Погляди, Сеня,—льнет к нему Настюша ночами,— все хуторские съехали, мы да Пронькины, да Михеев Семен, да Казьма Иваныч остались. Давай и мы на центральную, на новую жисть?

«Знаем мы твою новую жисть,—вспоминая слухи про нее и бухгалтера, темнеет Семен и цыркает через зубы на землю.— Все понимаем». — И, изловчившись, поддевает под зад проходящую мимо гусыню, та, кыгыча жестяным голосом, теряя перья и пух, летит вниз до самой реки и, только коснувшись воды, успокаивается, собирает крылья, задирает вверх глупую голову.

А в закуте уж охает годовалая свинка, глуховатый басок ее срывается на тонкий, щенячий визг. Не выдержав, Семен заходит в сарай, тянется рукой к мешку с комбикормом, подвешенному к березовой матице. С мешка соскальзывает газета, которую Семен положил сюда не читая, еще с вечера, когда приходила почта.

— Знаем мы твою новую жисть,—повторяет Семен и рывком сыплет пшеничные отруби в дубовую кадку, заводит крутое месиво. Управившись, он с минуту стоит в раздумчивости, потом лезет рукой под застреху, вытяскивает бутыль с мутноватой жидкостью, заткнутую сухой кукурузной кочерыжкой. Взболтнув ее, нюхает, смотрит сквозь зеленое стекло на дверной проем, вздохнув, засовывает за пазуху.

Сегодня Семен не берет привычно топор, не идет туда, на вершок. Сегодня троица, и ему хочется в травостой, в луга.

— Г-гя, г-гя-я!—выгоняет он корову и уже во дворе набрасывает ей на рога толстый пеньковый повод.

— И я с тобой,—увязывается Сергунька.

— Ладно уж,—соглашается Семен, равнодушно отдавая Сергуньке повод.

Корова покорно идет за Сергунькой, мотая из стороны в сторону тощим, выдоенным выменем, состебывая хвостом назойливых оводов.

Семен бредет позади. Наклоняясь, хватая с краю бахчи пупрастые огурцы, швыряет с пяток за пазуху, а одним, обтерев о штанину, хрустит шагов тридцать, жадно всхлипывая, захлебываясь от пресновато-сладкого сока.

«Значит, на новую жисть? На центральную, значит?—

бередит свою душу Семен.— И усадебку подыскала, говоришь, по соседству с булгактером?..»

Семен зло сбивает ладонью овода с коровьих мослов.

Не от одного Тимофея наслышан Семен про дела Настюшины с бухгалтером. Но страшнее всех шуточки Кузнечихи, от которых тело у Семена обливает мурашками: белобрысый Сергунька, говорит, не в чернявую мать и отца, а в просзжего молодца, лицом смахивает на бухгалтера.

«Ну, уж это брехня,— словно натолкнувшись на что-то, приостанавливается Семен. И гонит долой глазливую Кузнечиху.— Ну, уж это ты брось, старая ведьма. Мой Сергунька. Конечно, мой...» А старуха никак не уходит, брезжит в смутности памяти, в пухнувшей голове.

Он взглядывает на белесую макушку мальчонки, едва торчащего из-за коровы, и таким теплом-хмелем обливает всего Семена, так приятно идти ему рядом с Сергунькой на виду у глинистых оползней и просторных лугов, залитых солнцем и уходящих к синему лесу, так легко, так вольготно Семену, что, откашлявшись, он сипловато пробует голос, затягивает про одинокий развесистый дуб, который стоит веками среди ровной долины, как рекрут, как часовой, охраняя прохожих в погоду и непогодь. Но в самых высоких местах голос Семена натуживается, срывается, и жаль Семену, что не той получается песня, что не может он, что так и не вышло у него дело с гармонью...

Они вытягиваются с Сергунькой на горячей земле и глядят в васильковое небо. В Семене почти что два метра, в головах у него мягкая кротовая кочка, а в ногах — во-он где — рыжий конский щавель. Поначалу Семен прорывается рассказать Сергуньке что-то очень хорошее, очень доброе, как те сказки, что слышал когда-то от бабки, но и этого у него не выходит и, побасив маленько, Семен замолкает.

А солнце печет вовсю. Корова перестала щипать, прилегла, отдуваясь, уткнула рябую морду, всю в бусинках пота, прямо в конский щавель, который тряпками опустил долу подпекшиеся листья.

Повалившись, пожарившись этак на солнышке, Семен начинает чувствовать себя нехорошо, одиноко. Тимофей — годок его, в семилетку с ним бегали,— и тот

стал к нему теперь реже навещаться, нужный правлению человек. А тут еще под рукой эта бутылка — и чего без дела, чего лежит, греется? Отослав Сергуньку домой, Семен решается спуститься пониже, в пойменный луг, куда дед Сашка пригоняет на дойку колхозное стадо. Еще издали различает, что часть коров забрела в воду, часть дремлет возле варка, а меж ними разбрелись по зеленому лугу белые гуси. Но Семен-то уж знает, что гуси эти никогда не заковычат жестяно, что давным-давно превратились они в соль-лизунец, в солевые камни, подточенные, словно ветрами и водами, усердным языком симменталок.

В шалаше, к удивлению Семена, оказывается Тимофей. Ишь, дрыхнет, тонко заводит носом и всхрапывает. Мухи ползают по пухлым губам, Тимофей только отплевывается.

— Эй! — толкает его Семен. Он уж забыл про вчерашнее и сейчас рад приятелю больше, пожалуй, чем деду Сашке. — Эй, ты! Гляди, пчелы брюхо тебе покусали — одулся, ха-ха-ха...

— А? — вскакивает Тимофей и таращит красные, тяжелые от сна и жары глаза.

Через минуту он живо выкладывает на газету каленные яйца и ситник, полощет водою стаканы и объясняет Семену:

— Дед Сашка сегодня к внучке в больницу, а меня попросили сюда. Нужный правлению я человек.

— Затычка, — мрачно замечает Семен и наливает по первой.

Постепенно затевается разговор, которого Семен давно желал, да все не решался.

— Ты вот вроде бы сам себе голова, — утирает Тимофей тыльной стороной ладони сыреющий лоб. — А вон как пишут в газете: все хутора сселить и устроить агрогорода. И ванна там, и телефон.

— Угу, — басит Семен и косится на него, чуя, что тот сбивает его на прерванный вчера разговор. — Землицу, значит, бросать? Отцы, деды холили, а мы, значит, бросать? Да только уйди с нее человек, враз бурьяном зарастет, враз поля, родники оскудеют.

— На машинах из этих городов наезжать будем.

— Не наездишься. Земля, что дите, глаз да глаз нужен, а не заочность.

— Ты, значит, против будущей жизни? Жизнь есть жизнь, и никуда, Семен, тут не денешься.

— Да что ты понимаешь? У меня, Тимк, земля вот где, в грудях, без нее не дыхнуть. И сказать так: понабьется людей в города, ровно как комарей, а потом опять побегут к земле-матушке, и все сызнова. На центральную не зови — не пойду.

— Ну, не ты, так Сергуха твой.

— Ну, Сергунька нехай, а я неотступный,— рубит воздух рукой Семен.

— Гложет червь тебя, однокрылый,— встает Тимофей решительно. — Вот и водку ты принимаешь чрезмерно. Кособочит тебя одиночество.

И уходит поднимать стадо, а Семен наливает себе и вторую, и третью. Вскоре и сено, и газетка, и яичная скорлупа, и весь шалаш с соломенными скатами начинает вертеться вокруг своей, не известной ему, не ясной дотоле оси. И верчение это все быстрее, все бешенее; крутится все в одной сплошной пляске. Кровавые, синие, зеленые сполохи мечутся перед глазами; как молния пронзает их, похожая на Бабу-Ягу клешнявая Кузнечиха. «Не твой, не твой Сергунька,— шепелявит старуха. — Дорога-то торная, наезженная дорога». Падает Семен на сено и затихает...

Пробуждается он, когда соль-лизунец успеваает уже отсыреть от вечерней свежести, и плстется домой. Настюша встречает его у порога.

— Ишь, раздулся, как бубен,— не сдерживается она,— тебе кобеля самогонкой побрызгай — сожрешь.

— Не надо, Настюша,— вздыхает Семен и глядит на нее покорно и ласково. — Есть там что перехватить? В животе стенка к стенке липнет.

— На, возьми,— швыряет Настюша ему телогрейку. — Спи и ноне, где хочешь.

Семен кладет телогрейку на большой песчанистый камень у самого берега, ложится на него и, чуя спиной и затылком сквозь телогрейку прохладу и твердость песчаника, упирается взглядом в звезды, слышит их дальние шорохи, перебиваемые шевеленьем травы, говором речки и соловьями, вслушивается в отдаленный гул тракторов, работающих где-то под Даймино. И вспоминается ему все родное, хорошее: хромка, Сергунька, дед Сашка, даже покладистый Тимофей, телефоны и агро-

города, где все, как и на центральной, в больших электрических звездах. И тогда шевелит, шелестит он, растороганный, сухими губами:

— Ах, кабы гармонь мне, кабы гармонь...

А утром Семену приносят пенсию. Семен заговаривает с почтальоном про то да про се, про кино на центральной, про магазин, про селедку да ситец, но про главное спросить не решается. До обеда ходит по двору, мается. После обеда, не выдержав, гремит по мосткам на тот бок, виляет по лугу на центральную.

Года четыре, а может и больше, не бывал здесь Семен. С тех пор, как связался со срубом. Серые домики легли вдоль реки. Белым шифером сверкают склады и фермы. Семен стоит перед клубом, взметнувшимся на бугре, и вздыхает. «И откуда взялось все, скажите! Вот она, новая жисть-то... А какая, Семен, какая?» Непонятно Семену и больно, и даже тревожно, что не смыслит он почти ничего в этой «жисти», что, как ни крути, а Тимофей, наверное, ближе к ней, что он, Семен, вот отстал, обскакали Семена, уходят от него стороной.

Он останавливается у двухэтажного здания с выбитыми поверху серебристыми буквами: «Сельский универмаг».

Ходит Семен от прилавка к прилавку, оглядывает товары, одно его возвращает к себе: большой, малиновый, в перламутрах баян. Всего раз, лет с десятков тому, был Семен в большом городе у сестренки в Донецке, а и там не видал в магазинах такой красоты.

— Сколько он?— робко спрашивает Семен у продавщицы.

Спрашивает он просто так, для близиру; сознание того, что он может купить этот баян хоть сейчас, хоть сию вот минуту, что «деньжата покудова водятся», возвышает, поднимает его в своих же глазах. Но, прикинув, переводя деньги в лес-кругляк, Семен притишается, застывает.

Ему показывают и что подешевле: гармони и радиолы. Он выбирает себе патефон: чего еще, коли нет на хуторе электричества? Да и вряд ли будет когда. Хутор их, говорят, подлежит сносу и переселению. Так что патефон сейчас самый раз, хорошо. Радуюсь покупке, несет Семен аппарат узкой стежкой через луга. Озирается, не летит ли следом Настюша. В хату проходит задами,

чтобы никто не увидел. Чтоб никто не услышал, накрывает голову, патефон стеганым одеялом, живо ставит пластинку.

«Среди долины ровныя», — грустно, торжественно запекает во тьме крепкий мужской голос.

— Среди долины... — повторяет Семен, словно эхо, и чувствует, как закипает в груди.

С улицы прибегает Сергунька, ныряет к нему. Семен слышит дыхание частое, так и видит глаза его и, нащупав, кладет на льняную головку жесткую большую ладонь.

В сенцах что-то застучало, послышались частые шаги, одеяло слетело — перед ним с Сергунькой, лицом к лицу была она, Настя. Удивленно смотрит то на них, то на патефон. Стоит, опершись в бессилии на дверной косяк, глаза затягиваются влагой, плечи начинают подергиваться, все быстрее, все резче, в такт патефонной музыке. Она видит Семена — жалкого, однорукого, Сергуньку, прижавшегося под одеялом к нему, и так больно становится ей за себя и за них, так жутко от песни.

«Ни роду нет, ни племени»...

Она чувствует рядом острое плечо Семена, теплое тельце Сергуньки и, обхватив их руками, уже без стеснения, не скрывая слез и лица своего, плачет им в губы, в щеки, в затылки. По-бабьи, навзрыд, причитая.

— Ну, вот и все хорошо, все хорошо теперь будет, Настюша, — слышится ей голос Семена.

— Ой, Сеня, Сенечка, — шепчет она и падает, зарываясь носом, в подушку. — Ой, прости меня, Сенечка-а-а...

А окна уже полны новым звуком — дрожат от натужного рева тяжелогруженной машины. На момент мотор затихает, что-то грохается на дороге перед самой хатой, затем машина поднимается выше.

— Что это? — говорит, охладившись, Семен.

— Столбы, должно, привезли, — утирает Настюша распухший нос. — Электричество будут на хутор тянуть.

— Мы же бесперспективные.

— На вершке птицеферму на правлении решили.

Семен стоит и молчит: ишь, как оно — птицеферму.

— Ну, вот, вот, — бестолково суетится он. — Вот видишь? В сторожа пойду теперь, в сторожа.

Постоял, отдышался. Вышел в сени. Поискал топор,

попробовал пальцем — острый, вышел через задние двери во двор, побрел наверх, на родной корень.

— Сын! — крикнул он, обернувшись, Сергуньке. — Давай со мной!

Но Сергунька словно и не услышал его. Заколотил по доскам голыми пятками на тот берег вместе с соседским Петрунькой. В кино, должно быть, куда так лететь? А может, на стан к механизаторам? Куда же еще?.. Семен стоял и смотрел, пока русые головы мелькали за ивняком, пока тропинка перед ними не завлеклась в широкий большак и большак не свернул за бугор — к кирпичным домам, водокачке. К центральной усадьбе.

И снова стекал вниз по хутору к речке упорный стук топора. И дом подрастал, высветлялся каждым верхним венцом.

## Среди белого дня

Совсем недавно здесь было село Сирый Вражек. Века стояло, а исчезло за какие-то десять — пятнадцать лет. От усадеб только полынь да крапива, вон качаются на ветру. На подворьях, что первыми брошены, нет уже и крапивы.

Кое-кто уехал недалеко — за семь километров. И теперь село то Репнево не село — городок скорее, с телефонами, ваннами, асфальтированными тротуарами. Переебрались лет восемь назад на центральную усадьбу и Каргопольцевы, родители Дмитрия, и считает себя сейчас Дмитрий репневцем. Одно обидно до слез: в паспорте у него в графе «место рождения» стоит «село Сирый Вражек». А где оно, это село? Воронки погребов, в бузине одичалые кошки... Лишь один куток и сохранился: Белгород. Семь дворов по-над логом, где с времен еще дотатарских добывали белую глину. Остались здесь люди домовитые, хваткие, все живут да живут. В каждом дворе по старику со старухой, молодые на стороне.

— И у вас же тут город — Белгород, — смеются они, наезжая. Дмитрий с рюкзаком книг по истории и философии завернул к деду с бабкой на пару неделек. Это после Сибири, после тайги, где они со своим студенческим стройотрядом возводили город нефтяников. Дед с бабкой еще при силе, живут крепко. Ну чего еще надо? Дом кирпичный в пять комнат, пристроек не счесть, в каждой — всякая живность. А вокруг балки, поля, перелески. Не ленись, топор-косу в руки и сшибай сенцо-топливо. Пенсию тебе на дом, хлеб тебе чуть ли не на стол — привозят на бричке из репневского магазина. Смотрит дед Дмитрия, отцов отец, Филипп Каргопольцев с фотографии в главной комнате. Молодой, со шрамом поперек

носа, с двумя медалями «За отвагу». Героический дед, не подумаешь, что сейчас под началом у бабки.

И запальна же бабка Серафима, лиха: и сама дня не видит, по грядкам слозит, полет то огурцы, то картошку, и деда заездила — хлев расширь, сеголетке-телке сарай городи, прогуляй быка-двухгодовика. Дед у нее туда-сюда крутись-поворачивайся, не гляди на прежние раны. Дмитрию жалко деда, но ума хватает понять: ворошить улей нельзя, за многие годы здесь все подогналось, улеглось, другой жизни дед не знает, потому, возможно, доволен и этой.

После завтрака, накрыв на столе ложки-вилки от мух, бабка Серафима сказала деду, как бы мимоходом:

— Вишню — шпанку поди оберни и сруби.

— Как... сруби? — оторопел дед.

— Малашку вчера захватила, жрала вишни прямо с куста.

— Убудет тебе? — занкнулся было дед Филипп.

— Сруби! — поставила бабка глаза на него. — Неча повожать. Свое нехай вырастит.

Соседку справа, Маланью Миронову, Дмитрий встретил утром на стежке к колодчику. Бежал окатиться студеной водой и чуть не влетел в ее ведра. Малаша сошла со стежки, уступила дорогу. И он уступил ей дорогу. Так и стояли, пропуская друг друга. Дмитрию и сейчас видится ее маленькое, в кулачок, ветвистое от морщинок лицо, глубокие, водянистые глазки. «Старость не младость, — подумал Дмитрий. — Когда-то небось были карие. У стариков они всегда одного, блекловатого, цвета».

Сидя в малиннике за книгой Дмитрий нет-нет да и взглядывал на соседский двор, на длинную низкую хату, задумывался: что за жизнь теплится там, за оконцами, чем держится эта Малаша? Из всего Белгорода лишь она вековала как перст. Деда своего схоронила прошлой вссной: умер от угара, рано закрыли выюшку. Малаша была завезенная, из того же Репнева, жила с дедом каких-то семь лет и теперь, после дедовой смерти, вовсе считалась чужой. Каждый норовил ее чем-то обидеть, особенно бабка Серафима, которая на кутке видела только себя: ну-ка выходи четверых. Сыновья. И все с высшим образованием. Через все, что терпела сама, должны были пройти теперь и другие, к примеру, Маланья, а как же?

— Глотку-то петуку своему шнурком затяни,— поставив руки в бока, утесняла она спозаранку соседку.— И орет, и орет, черти его раздирают.

— Ты бы и мне моток, дай тебе волю,— возражала ей слабо Малаша и иногда не сдерживалась.— И чего ты, змеюка, все кружишься?

Дмитрий лежал на сеновале, вслушивался в их перебранку и думал, как все в жизни зыбко и одновременно стойко: одно, вековое, сходит за какие-то годы, другое держится и будет держаться еще тысячи лет. Сено было духовитое, из разнотравья, привезли из Грининой балки. Внизу, под сеном, по самой земле, он слышал, ходили ходуном мыши и терли в труху усохшие чистотелы, чертополохи, дикие скабиозы, отзолотившиеся купавы. А вместо них в лугах и балках поднимутся другие дикие скабиозы, чертополохи и золотые купавы...

На сей раз дед Филипп не стал прогуливать быка-двухгодовика, вывел и бросил его пастись по тот бок оврага. На быка страшно глядеть: под шкурой бугры, глаз налит кровью, губы в розовой пене. Пастухи (а стерегут все по очереди от дворов и от поголовья) отказываются принимать быка в стадо, советуют вдеть ему в ноздри кольцо и вообще давно пора сдать быка в «Заготскот», но бабка Серафима сопротивляется, ворчит дома: «Ишь удумали — летом сдавать. Да за лето он еще ценнера два нажует». Дед Филипп прозвал быка Идиотом.

От чтения Дмитрия оторвал жуткий крик. Кинулся в овраг: под ракитой сидела бледная, как полотно, Малаша. Дед Филипп уже отгонял кнутом Идиота, стегал его, подгибаясь, по пузу, по ушам, по глазам. Всклипывая, Малаша попробовала подняться и упала в крапиву: с ногой было неладно, уж не перелом ли? В стороне валялось ведро.

— Подошла толечко, зачерпнула,— плакалась Малаша Дмитрию,— а ён с горы на меня. Как туча. Я бегом, нога в ямку, я кубарчью. Тут, спасибо, Филипп... Ой-ой-ой,— скривилась она, запричитала: — Да как же я теперича без моей ноженки. Ой, да пропаду же я сиднем сидючи-и-и...

На другой день дед Филипп свозил Малашу на репневский медпункт. Оказалось, ничего страшного — растяжение; стопу укрутили в бинты, предписали покой. Дед Филипп подвез Малашу под самое крылечко, и она, взяв

подойник, тут же поволоклась в коровник доить измучившуюся, недоеную свою симменталку Красавку.

— Цаца какая, к крыльцу ее,— ворчала бабка Серафима.— Прихитряется, темная личность. Тут тебе улыбка, как блин, а в душе черти.

— Да ить мы виноваты,— разворачивал телегу на ферму дед Филипп.— А с чертями-то чужая душа — потемки.

— Прихитряется,— твердо решила бабка Серафима.— Бык ее даже и не катал.

— Да зачем притворяться-то?

— А-а, много ты понимаешь,— махнула на деда бабка Серафима.— Езжай давай, по назначению.

Трудно в деревне стать своим человеком. Слово ли о ком скажет Малаша неловкое, косо взглянет на овраг, а белгородцы уже на дыбы: Репнево тебе пирог маковый, а чего тут окологлазишь? А тут еще бабка Серафима масла в огонь подливает. Все на кутке давно подогнулись под Серафиму: серьезная бабка, а ну попробуй подыми четверых, да еще дай всем такое образование, тут с одним не знаешь, куда бежать. Ходит Малаша чисто, скота много не водит, за дедом — считалось — голову, как гусыня, держит; теперь и сама живет, а головы не опускает, из себя воображает чего-то.

Через день Малаша кое-как дотолкалась до фермы, увидела запряженного мерина, только что Стенька — старший сын чабана Алешки Терехова — подкатил с комбикормом.

— Стенька,— сказала парнишке Малаша,— мне на медпункт надо,— и уселась в бричку.

Стенька бросил ей вожжи, сам подался домой, за что тут же получил от отца нагоняй.

— Коней туда, коней сюда, изорвали бы,— ворчал Терехов-старший.— А доглядывать некому.

— Ладно тебе,— остановил его Стенька.— В другой раз с Малашей сам разговаривай.

В полдень Дмитрий видел, как, возвращаясь из Репнево, Малаша проехала мимо на ферму. Тащила обратно пешком, далеко отставляя забинтованную ногу, налегая на корявый грушевый сук. При каждом шаге лицо искажалось, рот был полураскрыт, видно было, каких усилий стоила ей эта ходьба. Почувяв хозяйку, заревела корова, ей вторила летошняя телушка, и Малаша заме-

гальса по двору, загремела подойником, позабыла про боль.

Сегодня стадо стерег Алексей Терехов. С утра крутил его за оврагом, напротив дома, чтобы, в случае чего, нырнуть к себе, узнать, что и как. Только что вился здесь, согнал стадо, должно быть, к самому пруду. Малаша ковыляла за Красавкой, возле Красавки туда-сюда сновала телушка. Корова была необычно взволнована, все вертела головой — то старалась смахнуть языком овода с дойки, то поглядывала назад на Малашу. «Му-у-у!» — призывала она поселковое стадо. На ее голос тут же обычно отзывался Серафимин бык, а не отзывается. У пруда никого. И у балки, вправо от пруда, никого. Куда хоть запропастились?

— Алешка-а! — доносится с пруда Малашин голос. Дмитрий откладывает книгу, сидит с минуту в задумчивости, разглядывает, как пчела споро бегаёт хоботком по цветущей решетке подсолнуха.

— Алеша-а-а! — опять отвлекает от мыслей голос Малаши.

Голос Малаши ходит по буграм, по поселку, встряхивает даже кур на нашесте, затем пропадает. Дмитрий встречает Малашу вместе с Красавкой — телушкой у самого края оврага; она гонит животных обратно домой, на привязь. Корова приостанавливается, жадно хватая макушки ромашек, кипрея, луговых колокольцев, норовит вильнуть в сторону. Малаша ковыляет за ней, облекаясь на сухой грушевый сук, зовет тихо, ласково, со слезами в голосе:

— Красавка, Красавка, Красавка...

Телушка, играя, шарахается из стороны в сторону, задирает задние ноги, бьет ими воздух, забегает вперед, толкает Красавку мордочкой в шею.

— Давайте помогу, — говорит, чего-то смущаясь, Дмитрий и поворачивает корову назад. — Мы сейчас их отыщем, живо.

— Вот спасибо, дай бог здоровычка, — припадая на грушевый сук, причитает Малаша. — Горы золотые, невесту-красавицу, с женой душа в душеньку...

Слова все несутся в спину, в них уже чудится неискренность, какая-то фальшь. Дмитрий не даёт нехорошим чувствам развиваться, отрывается от Малаши мыслью о

том, что он здесь не как все, возьмет и сделает для нее пусть небольшое, но гуманное дело.

Спуститься вниз к тростнику, подняться на гребешок, а оттуда, как на ладони, Синцовка. Был и такой куток в Сиром Вражке — Синцовка, а теперь это пустошь, ложок, по дну которого едва слезится ручей. Тут же — цел покамест — холодает под раkitой колодчик. Деревянный замшелый сруб вовсе утонул в травостое. Когда-то и он, Митя, бегал сюда со жбаном.

Отсюда, с бугра над Синцовским колодчиком, лучше и не глядеть — сердцу больно. Дмитрию еще в память, как густо после войны жили здесь люди. По степи были развеяны выселки — всякие Ивановки, Панки, Николаевки, там теперь островами черемуха. За рвом разметаны грубые серые камни, говорят, такие растут из земли. На одном из них сидит кто-то в черном.

— Здравствуйте,— подходит Дмитрий ближе.

— Здравствуй, здравствуй, добрый человек,— в пояс кланяется старушка и показывает равнодушно-спокойно на следы старых могил: — Вот пришла своих проведать.

Посидели. Выяснили, кто из чьих будет. Старушка оказалась отсюда, синцовская, перебралась к дочери на Репнево.

— Жизнь пошла не такая, нет,— убирала она подвижные губы в свой мягкий беззубый рот.— И снегу-то стало внатруску, поля не прикроет. Вот уж сезона четыре на машинах всю зиму. А то на санях не проедешь, понасует сугробов-то... Да... А дворов-то тут, ты не знаешь, битьмя было набито. Крыша к крыше. Только в ворота меж ними просхать — в твои, мои. Сын к отцу лепился, внук к деду. А теперь... Дети куда хошь. И едут куда-то, и едут...

— Ну, а вы-то, вы сами? — остановил Дмитрий старушку.

— Да что я,— поднялась, засобиралась старушка.— Я как все.

— Алешка-а-а,— неслоь издали.

Голос Малаши был не силен, зато резок, такие слышать за километры... Во-он на седых овсах ее синий платок. Красавка и телушка кинулись в хлебное поле, Малашин платок подвигается медленно... Вот у кого по молодости, должно быть, получались песни, частушки. Были ль равные ей в целой округе? Голос поднимается, тает,

плывет над полями, могилами. Над настоящим и прошлым.

— Алешка-а-а!

Глухо. Не отвечает Алешка. Запропастился Алешка. Ушел куда-то со стадом, попробуй сыщи: кругом балки, поля, перелески и снова поля. Слишком просторно. Дмитрий увидел на стежке пачку «Примы», буквы карандашом. Наклонился.

«Оттого придумываю сходства  
Я тебе с родною стороной,  
Что душой врастаю каждый год свой  
В край мой конопляный и ржаной».

Слушал, как шелестят, отзванивают, вызревая, овсы. Сердце его замирало. Как красиво там в Сибири, но только здесь он может так любить землю. «Это Стенька гнал утречком стадо. Алешкин сын Стенька, кому же еще?» И он смотрел, не мог насмотреться на балки, овсы, перелески, здесь бродила недавно своя, родная душа.

А крики неслись, рвались ветром, бились в грудь ему, в спину. Как просторно здесь крикам и как же тесно. И вспомнилось ему, как в первое время они в отряде ходили в кедрач, «шишковали» — плечом к плечу, вместе. Потом разбились по кучкам, по парочкам...

Подошел к Малаше. Стояли, не знали, где еще искать Терехова.

— Ума не приложу, — вздохнула она, — куда бы мог? Все лога обшарили. В Синцовском был?.. А в Отлогом?..

Смирно ходили Красавка с телушкой. Солнце стояло еще высоко.

— И что с того, что через три-четыре двора «Жигули», — речь Малаши плавна, обдуманна. — Да жизнь в чем? В «Жигулях» разве? Вон бабка твоя, Серафима, захлестнулась от жадности. На одну машину отцу твоему накопила, на другую копит себе. А для чего? Свеклу с колхозного поля на «Жигулях» таскать?.. Я тут всем, на кутке, не по нутру. Приютились в куточке и тащат. Клевер, сено, дрова. Все грозят, нажимают, боятся — докажу.

— А чего не уедешь? — шевельнулся Дмитрий.

— Не молоденькая мотаться. Да и от себя не уйдешь... Везде, Митя, можно жить и просторно, и тесно. Этот как оно жить... Все, милок, идет своим чередом. Возвышается Репнево, обмелел Сирий Вражек? Значит, так оно надо. Небось наш районный Амленск постарше

Москвы... Как жить, говоришь, сынок? — морщинки сбегаются у Малаши к глазам. — А как по-твоему? По-моему, день-деньской на ногах. Хочешь поесть хорошо — потопчись, выхлопochи курочку, коровенку. И на себя и на людей потрудись.

— Жить-то только для коровенки? Сама говоришь, куда скатишься.

— Вот и думай, милоч, как не скатиться, — поднялась Малаша. — С коровенкой, милоч, века жили, не скатывались.

Остаток дня Дмитрий стерег Малашину корову с телушкой. Лишь к закату на Ведьмежьем верху показалось белгородское стадо: Терехов гонял его, не подумав, аж в Гринину балку. Прогон туда по топкому, глинистому оврагу неудобен: коровам недолго поломать ноги. Вот оно, стадо. Впереди — бык, все четыре ноги в желтых глиняных чулках до колен: глаз налит кровью, чего бы вытворить? Завидев Красавку, подбирается к ней боком-боком, подает трубный рев. Но Терехов настороже, тут же охаживает быка ременным, с подвесом, кнутом по ногам, по ногам. Бык сжимается — до чего труслив, просит пощады тонким, каким-то телячьим голосом.

За ужином бабка Серафима говорит, не обращаясь ни к кому, как бы в пустоту:

— Малаша-то работничка сыскала себе.

— Кого это? — интересуется дед.

— Да вон внучка нашего, — смотрит на Дмитрия бабка Серафима. Дмитрий еще ниже угнулся над кружкой с молоком. — Эх, внучек, внучек, — подсаживается бабка к нему. — Успела напеть эта Малаша? Нашел светлое пятнышко. Да она, лиходейка, — бабка Серафима сделала страшные глаза, задышала Дмитрию в ухо, — деда-то своего на тот свет спровадила. Выюшку нарочно закрыла...

— Да ладно тебе, не грешн, — поднялся дед из-за стола.

— Почем купила, не грешн! А ты тоже хорош. Другие исподники отпятил по щиколотки, ай гоняться за цацками?

Перед сном Дмитрий вышел во двор, на бревнышко. Посидеть, поварить в голове, что услышалось, увиделось за день. «Алешка-а-а!» — плыли по рыжим буграм одинокие крики и повторялись оврагами, балками, заглуша-

лись крапивой, полынью нажилых прежде местах. И глядя на звезду, простую и непростую, как яблоко, Дмитрий думал, как просто все и как все непросто даже здесь, в этих семи дворах Сирого Вражка. Вспомнилась Сибирь. Люди едут, хотят начать новую жизнь и все свое привозят с собой... Вон она, бабка Серафима, погасила окно. Завтра ей вставать по-крестьянски, чуть свет...

Дмитрий вглядывается в теплую июльскую ночь. Скоро взойдет луна. «Алешка-а-а», — висят на рыжих буграх одинокие крики и то вздымаются в звезды, то утопают в выройках, где издавна брали белую глину и возили возами далеко по Задонью в обмен на яблоки, жито. Жили люди, живут. Везде можно жить и просторно, и тесно, это как оно жить. «С утра наносить Малаше в бочку воды», — решил Дмитрий и спал в эту ночь хорошо.

Мне не терпелось в парк, в знаменитый Киреевский парк, навеявший некогда лучшие страницы в «Войне и мире» Толстому. И вынесло меня к входу полуподковой, к одиночному дереву, где на лужайке играли дети.

— Не смейте! — вскочил вдруг мальчуган лет восьми — тонкий и русоголовый. — Не смейте ее, она делает людям добро!

Не знаю, за какую такую живопись горячо вступился мальчишка, но его искреннее желание добра так и пронзило меня, засветило отсюда каждый мой шаг. Все теперь было во мне, все в элегической грусти: давность кленов и тополей, бледная хилость подлеска, тщетно пытающегося выбраться к солнцу, но довольствующегося пока что лишь бликами. В сумеречных аллеях царили спутанность и запустение. Пруд, в темных водах которого еще с времен войны, говорили, таится Смерть — ржавые мины, затянулся ряской, порос кугою и тростником. Прислонившись к столетнему тополю, слышишь щекой верхнюю гулкость ствола, гудение пчел в долбленной колоде, припрятанной кем-то по обычаю предков — в развилке мощных суков, и перешепоты листьев переходят в слова, а гулкость — гудение — в музыку. И ожидаешь чего-то, чего же? У темной воды на плотине скамейка. На скамейке забытый кем-то томик стихов: Тютчев. Аромат тонких духов. Знакомые певучие строки:

Я встретил вас...

И музыка — гулкость сильнее, напевнее, звучит бархатным басом Штоколова; в такт всему поднимается и опускается плоскодонка у берега. Славно, наверно, плыть

с шестом в этой лодочке, глядя с воды на просветленные осенью клены.

Солнце уже на исходе; по углам серьезнеет пруд, и только вершины сосен на карлике-острове, окруженном кугой, еще держат розовыми стволами заходящее солнце. Налетавшись, грачи хлопочут в своей колонии, устраиваются на ночлег. И текут, все текут вокруг кленовые листья, обнажая в былой гущине, в развилке ветвей, гнезда синичек, малиновок, соек. Как увядающее мило!.. Да, но кем забыт тютчевский томик? Чей в нем аромат? А мысли уносят в ушедшее.

Человек стоит у окна, распахнутого в лунный парк. В человеке все смутно, отрадно, все в ликование, полнится близостью дорогого юного существа. А оно, божество это, рядом, над ним, Андреем Болконским; тоже смотрит в седой мудрый парк, отраженным зачарована светом. Безотчетно в такой миг желанье любви... Человек должен любить, должен искать человека, того, кто способен поднять в нем великие глубины, зажечь, озарить на годы всю его жизнь. Угадать, не пройти, озарить — озариться любовью. В наши дни, когда властно железо, когда людей столько, сколько нет в парке листвы, очень важно найти человека, чтобы вместе — рука в руке — высветлять путь себе и другим... Она, конечно, придет сейчас за забытым тютчевским томиком, — трепетная, зачарованная луной, Наташа Ростова. Пусть прочтет, подчеркнет ей вот это — самое нужное, важное:

Я встретил вас...

Каблучки затокали неожиданно рядом, по деревянному стоку, я едва успел скрыться в акациях. Обрадовавшись, она взяла тютчевский томик и тут же заметила пометки мои на странице. Улыбнулась. И огляделась. Она была хороша. Серые глаза опушались густыми ресницами, вольные темно-русые волосы ниспадали на плечи и оттеняли светлое платье; и вся она, живая и легкая, была так знакома, привычна, словно видена мною и раньше.

А назавтра я занял пост в акации чуточку раньше и видел, как уходила она. Оставив — теперь уже, вероятно, нарочно — на скамье тютчевский томик, она протокала каблучками по деревянному стоку и скрылась за поворотом. И вновь этот томик лежал у меня на ладони, вновь держались в нем тонкие запахи, возбуждали былое.

Я подчеркнул еще строчку и положил на скамью:

И то же в вас очарованье...

На этот раз она уже не улыбалась. С минуту чутко прислушивалась к гаму мальчишек, гонявших мяч поблизости на стадионе, провожала рассеянным взглядом прохожих и задумчиво смотрела, как догорает на соснах закат.

Наблюдая за нею, я пытался представить всю ее жизнь: босоное детство, подруг ее, первую, последнюю тайну, и что-то большое и теплое колыхалось в груди мой. На сей раз в оставленном томике было подчеркнуто:

Бывает день, бывает час,  
Когда повеет вдруг весною...

Не знаю, но мне показалось тогда от всех этих звуков, от всех этих слов, от органических регистров романса, вдруг вломившихся с силой в меня, очень душно, невозможно доле оставаться в акациях. Я вышел из укрытия своего и побрел куда-то по берегу, по пересохшему гирлу пруда.

Бежит, торопится стежка куда-то за сосновую кладку. Мимо колодчика, мимо шершавого клена, опиленного наподобие головы лося; долго еще лесной зверь следит за мной своим неусыпным зраком. Этот взгляд деревянный, патрон от «мелкашки», найденный у Барсучьей горы, отрезвляют, охлаждают, настораживают меня. Вот она, эта гора, превращенная в тир.

Часть кургана, лицом к тропе, изъязвлена пулями. На макушке плоско и солнечно. Здесь сирень, клен, акации, перевитые хмелем. Дальше спуск к отступившему пруду — хмурый, пологий и влажный. Ни травинки. Деревья с темнеющими стволами и корнями, словно мангровый лес. Повыше, в комелек серебристого тополя, уходит барсучья нора. Глинистые края еще остры, но чернь входа уже заткана паутиной... И я слышу вдруг выстрелы, чую, как пули впиваются в тело горы; эхо ходит от дерева к дереву, по аллеям, которыми вслед за Андреем Болконским когда-то бродил Лев Толстой, улетает за пруд к той скамейке, к тютчевским строчкам, к Ее белому платью. «Тир. Неужели он нужен именно здесь?»

А на завтра я уже не пришел. Не пришел сюда и через день. А когда пришел — похудевший и строгий, — то не стал забираться в акации: сел на скамью и стал ждать урочного часа. Она подошла мягко, неслышно и стала

напротив, и протянула раскрытый тютчевский томик, и, вспыхнув, отвернулась порывисто. Синим горело в нем:

Слезы людские, о слезы людские,  
Льетесь вы ранней и поздней порой...  
Льетесь безвестные, льетесь незримые,  
Неисчислимы, неисчислимы,  
Льетесь, как льются струи дождевые,  
В осень глухую, порою ночной.

Я взял ладонь ее — она была легка и послушна. Мы шли, и вялые листья стекали у нас по плечам. Сквозили пустоватые клены, в несметных, разноколерных золотах под ногами пышнела земля. И ветер теперь проникал свободней в аллеи и остужал наши лица. В такие минуты кому не захочется показаться талантливым, умным, а у русских — уж так оно есть — все начинается и кончается словом о родине, о будущем края родного, России.

— Вот парк, знатный парк. Сосны, липы и тополя. — Подстраиваясь под нее, перешел я на мелкий шаг. — И знавал я одного садовода, так для него нет лучше дерева, чем, скажем, яблоня. Все другое ему постыки. Постыки перед садом целый липовый парк...

— Как это у тургеневского Базарова: не изъяснитесь слишком красиво. Не надо.

— Зарастает пруд. Видите, вон гирло его затянуло уже тростником, островки примкнули к самому берегу... А в Кочетах заиливает толстовский родник. Редее гамма тонко подобранных крон в Шестаковском парке, пропадает Воронцовский под Глазуновкой.

— Ну и что, по-вашему, парков теперь не сажают?

— Сажают. Конечно, сажают! Да всегда ли умело?.. Не пора ли, пока они еще целы, всерьез подумать о них, о старинных? Почаще бы обращаться к ним за советом...

Мы шли аллеей близко друг к другу. Иногда, в темноватых местах, она и вовсе придвигалась ко мне, и тогда даже на расстоянии за ее тоненьким ситчиком ощущалось живое тепло. Смотрели на дымящийся пруд, на островные сосны, ловящие стволами закатное солнце, и мне, не остывшему от разговора, все еще воображались липы бело-колодезьские, кочетовские вязы, шестаковские ясени — все деревья парков старинных, от которых, коль глядеть на них снизу, валится шапка: так высоко они встали над нами, и с годами становятся и мощнее и выше — часовые нашей истории, нашей культуры...

— Вы помните? И то же в вас очарование, — оживляется она. — Что означали тогда для вас эти слова?

Да, у нас с ней, оказывается, уже много общего: этот пруд, эта дымка, эти воспоминания. Почему я тогда подчеркнул эту строчку?

— У вас есть сестра?

— Нет.

— Простите. Значит, вы — это вы?.. Сестра милосердия. Как когда-то Наташа Ростова. Наташа встречала Болконского израненным, уже побывавшем в деле, она...

— Сейчас я, наверно, спасла бы князя Андрея.

— Вы?

— Да, — она улыбнулась просто и нежно и прижала пальцем над ухом тонкую прядку волос. — Я работаю в той вон больничке. Прошу завтра с утра на прием.

— Лучше с вечера, как всегда.

Я поискал губами висок, но нашел тонкие пальцы и прижался к ним — они задрожали и опустились на шею.

— Не надо, — шептала она, глядя в меня большими, потемневшими от волнения глазами. — Не надо.

И сбивалось дыхание: волны вновь и вновь выкатывались на камень, раздвигали сохнувшие тростники. И в такт им, скрипя ржавой цепью, поднималась и опускалась легкая плоскодонка. Прислонившись к столетнему дереву, слушал щекой я верховую гулкость ствола и белое платье переходило в туман, туман в сизую дымку, дымка растворялась над прудом. А гулкость сгущалась в мелодию, насыщалась словами, звучала бархатным басом Штоколова:

Я встретил вас...

Душе хотелось чего-то большого и сильного, достойного всего этого, такого родного и близкого. Перед глазами проходила Россия — вся в тальнике, полувесенняя, чуткая, когда прекрасные звуки еще закованы в почки, готовые вырваться, пролиться миру зелеными шумами, напомним тебе, что ты сын своей Родины.

Мы и любим своих россиянок за то, что они нам как часть нашей родины, словно корень ее стержневой. Одни из них вровень с нами — что на ратном кургане, что у огненно-мирных мартенов. Другие, как Ярославны, делят с нами горькую влагу из шелома. А третьи — да каждый по себе отыщет светильник — нам светят всю жизнь и зовут, вдохновляют на доброе.

— Я встретил вас,— сказал я ей, глядя в большие глаза, искренне радуясь, что все бывшее уступало во мне место надеждам, а значит, и будущему.

Как и во времена Киреевского и Толстого, перед псовой охотой, в слободе перебрехивались собаки-зайчатники, горланили, чуя рассвет, петухи. Первые машины со свеклой полоснули фарами по дремотным вершинам сосен. День начинался.

# Содержание

## I

Глинописец . . . . .	5
Ливенка . . . . .	14
Берестяные песни . . . . .	22
Черемуховы холода . . . . .	31
Ночной председатель . . . . .	39
Аксиин свет . . . . .	48
На Соькинном кордоне . . . . .	56
Ключ-колодец . . . . .	64
Перепелиное поле . . . . .	76
Липа вековая . . . . .	85

## II

Костровый пояс . . . . .	95
Черная береза . . . . .	105
Еремеева правда . . . . .	113
Опростоволосились . . . . .	121
Двенадцать апостолов . . . . .	131
Конфуз . . . . .	136
Дарыюшка — последняя из хуторян . . . . .	142
Белый волк . . . . .	160

## III

Воздушные замки . . . . .	173
Девушка с лисьим хвостом . . . . .	183
Борозда в небе . . . . .	193
Танцующий Шива . . . . .	204
В примаках . . . . .	211
Среди белого дня . . . . .	225
В парке старинном . . . . .	234

## Леонард Михайлович Золотарев

### ПЕРЕПЕЛИНОЕ ПОЛЕ

#### Рассказы

Редактор Ю. Бондарев. Художник М. Стасевич. Художественный редактор Е. Прохоров. Технический редактор Л. Киселева. Корректоры И. Салькова, Т. Стельмах.

ИБ № 1563. Сдано в набор 19.02.80. Подписано к печати 15.07.80. А09123. Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Гарнитура литерат. Печать высокая. Бумага тип. № 1. Усл. печ. л. 12,60. Уч.-пзд. л. 11,73. Тираж 100 000 экз. Заказ № 1056. Цена 90 коп.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР. 121351. Москва, Г-351, Ярцевская, 4

Отпечатано с матриц Саратовского ордена Трудового Красного Знамени полиграфического комбината Росглаволиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Саратов, ул. Чернышевского, 59, на Книжной фабрике № 1 Росглаволиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Электросталь Московской области, ул. им. Тевосяна, 25.

90 к .

•СОВРЕМЕНИК•